

Ирина
Волчок

**Журавль
в небе**



Ирина Волчок
Журавль в небе

«АСТ»

2010

Волчок И.

Журавль в небе / И. Волчок — «АСТ», 2010

Желания, загаданные в новогоднюю ночь, могут сбыться. И произойдет чудо, которого ты уже не ждешь, и это чудо изменит всю твою жизнь, и жизнь близких тоже изменит. А ведь семья – это единственное, что она считала ценным в жизни. Единственное, что нельзя потерять ни при каких обстоятельствах. Единственное, что она не согласна отдать даже за счастье, о котором мечтала всю жизнь. Из предложенных судьбой вариантов мы не всегда выбираем лучший. Мы выбираем доступный. Вопрос в цене, и цену мы определяем сами. Книга издана в авторской редакции.

© Волчок И., 2010

© АСТ, 2010

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	16
Глава 3	27
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Ирина Волчок

Журавль в небе

Глава 1

Тамара обожала семейные праздники. Всякие дни рождения, годовщины, юбилеи, крестины, именины... Вообще-то семейный праздник можно было сделать из чего угодно – хоть из покупки пары новых туфель, хоть из выпадения молочного зуба у Аньки, хоть из поселения в доме ничейного беспородного щенка. Первое мая, Седьмое ноября и Восьмое марта тоже вполне годились на роль семейных праздников, не говоря уж о Новом Годе. Именно так, с большой буквы каждое слово. И даже, еще лучше, каждое слово большими буквами: **НОВЫЙ ГОД!** В детстве Новый Год был для нее совершенно особенным праздником... Нет, не так. В детстве Новый Год был для нее единственным праздником. Наверное, отмечались еще какие-нибудь, но она их не помнила. А Новый Год помнила до мельчайших подробностей: кто что говорил, кто что дарил, какое у нее было платье, что стояло на столе, что висело на елке. Она помнила свое ожидание Нового Года и запаха мерзлой хвои, карамелек «Клубника со сливками», зреющего в большой алюминиевой кастрюле теста для пирогов, нового полотенца, приготовленного «для гостей», и еще множество всяких редких, не ежедневных запахов, которые сплетались в один большой и богатый запах праздника; она помнила все свои желания, которые загадывала на каждый Новый Год; она помнила узор каждой снежинки, которая таяла на ее ладони в новогоднюю ночь... Такая у нее с детства, с пяти лет, была привычка – ловить новогоднюю снежинку на ладонь, а потом внимательно рассматривать ее, стараясь запомнить никогда не повторяющийся узор. Она запомнила тридцать три узора – на каждый Новый Год. И еще она помнила свою горькую обиду на то, что Новый Год бывает так редко. Наверное, от этой обиды все и пошло – эта ее неумеренная жажда праздника. Готовность отпраздновать что угодно, даже визит соседки за десяткой до получки. Но в семейном кругу. Это главное. Вне семейного круга праздников не было, а если какие и были, то тьфу на них.

Тамара осторожно почесала бровь мизинцем и привычно заглянула в зеркальце над мойкой: не испачкалась ли в муке? И привычно же улыбнулась своему отражению. Потому что этому научила ее бабушка. И потому, что Тамаре нравилось ее отражение: из зеркала ей улыбалась маленькая, худенькая, коротко стриженная девчонка, глаза у девчонки были веселые и решительные, мордашка розовая, зубы белые, а бровь в муке.

– Стыдно, женщина, – сказала Тамара своему отражению склочным трамвайным голосом и показала ему язык. – Не молоденькая уже. Как вы себя ведете? Мать, понимаете ли, семейства...

– Мать, у тебя там не готово еще? – В слегка сонном голосе мужа слышалось нетерпение. – Мы с Натуськой пирожка хотим...

Он даже с дивана не поднялся, отметила про себя Тамара с легким раздражением. Даже голос не повысил. Ну да, с какой бы это стати ему подниматься с дивана и идти на кухню, чтобы что-то спросить? Не царское это дело. Жена должна слышать каждое слово мужа, даже если он говорит из-за двери, в подушку и при этом не повышая голоса. Тамара сунула противень с пирожками в духовку, быстренько сполоснула руки и опять глянула на себя в зеркало над мойкой. Чувырла. Морда скучная, глаза стеклянные, а прическа – как у пьяного ежика. И чего ей в себе могло нравиться? Хотя да, бабушка ведь учила всегда улыбаться своему отражению... Она с некоторым принуждением улыбнулась – и тут же заметила в зеркале какое-то осторожное движение. Оглянулась, увидела Наташку, застрявшую в дверях с нерешительным видом, и улыбнулась уже без всякого принуждения.

– Наташ, ты чего маешься? Пирожки через двадцать минут будут. Вы с отцом за двадцать минут не помрете с голоду, нет?

– Ага, – рассеянно сказала Наташка и принялась вертеть головой, пристально рассматривая кухню, знакомую ей до последней горелой спички в банке из-под майонеза, стоящей на подоконнике. – Ма, я не поняла... Аня вообще, что ли, никогда не придет?

– Как это – вообще никогда не придет? – испугалась Тамара. – Что ты такое говоришь? Что случилось?

Наташка оторвала взгляд от настенных часов и сердито уставилась на нее. Переступила с ноги на ногу и вдруг ляпнула:

– Я этого ее Виталика терпеть не могу, так и знай.

«Я тоже его терпеть не могу», – чуть не сказала вслух Тамара, но вовремя прикусила язык и подавила тяжелый вздох.

– Наташка, – сказала она как можно строже, – ты мне это брось. Мало ли, кто кого терпеть не может! Вот представь: ты выйдешь замуж – а я тебе вдруг заявлю, что терпеть не могу твоего мужа. Тебе ведь обидно будет, правда?

– Вот еще. – Наташка скроила надменную физиономию и опять уставилась на какую-то деталь интерьера. – Ничего мне обидно не будет. Я сразу этого козла на фиг пошлю.

– Что? – изумилась Тамара. – Ты откуда таких слов нахваталась? И вообще, тебе еще рано об этом судить, ребенок нахальный. Вот выйдешь замуж – посмотрим, как запоешь.

– Никак, – упрямо буркнула Наташка и повернулась, собираясь уходить, но не ушла, стояла в дверях, всей спиной, и стриженным затылком, и розовыми оттопыренными ушами выражая неудовольствие. – Я лучше вообще замуж не выйду... А то выйдешь за такого... в общем – за такого. А он тебя даже домой не отпустит. Даже на Новый год. Коз-з-зел.

– Перестань, – сказала Тамара устало. – Не маленькая уже, должна понимать. У Ани теперь своя семья, свой дом, свои гости... Она просто встречает Новый год в своей семье, со своим мужем. Так и должно быть.

– Фигушки, – выдала Наташка не поворачиваясь и шмыгнула носом. – Это мы ее семья, а не какой-то там муж...

Тамара безнадежно вздохнула, села на табуретку, ухватила Наташку за руку и потянула к себе, преодолевая ее не слишком сильное сопротивление. Усадила дочку к себе на колени, обхватила ее руками и уткнулась носом в растрепанные душистые вихры, собираясь с мыслями. Хотя с чем там было собираться... Мысли ее были теми же самыми, что и у Наташки: мы – ее семья, при чем тут какой-то муж? В общем, неправильные были мысли.

– Понимаешь, – начала она осторожно и опять вздохнула. – Семья – это не всегда одно и то же. Семья всегда с чего-нибудь начинается. Когда я вышла замуж за твоего папу, началась наша семья. Но ведь до этого он рос в своей семье, а я – в своей. Вот представь: моим родителям твой папа не понравился бы – и что мне тогда делать? Не выходить замуж? И не было бы у меня ни Ани, ни тебя.

– А папа твоим родителям не понравился? – осторожно спросила Наташка, не поднимая головы.

– Почему не понравился? Очень даже понравился.

Это даже нельзя было считать ложью. Может быть, Николай и вправду понравился бы ее родителям, если бы она его им показала... Вернее, если бы было кому показывать своего жениха. Ох, как некстати сейчас вспоминать всякое такое...

– Натка... – Тамара разжала руки и слегка шлепнула дочь, сгоняя ее со своих колен. – Ты потом все сама поймешь. Главное – помни: семья – это самое важное. Самое-самое... Это правильно, что дети вырастают и замуж выходят, женятся... Из-за этого родители ведь не перестают их любить, правда? Я никогда не разлюблю Аню, и тебя никогда не разлюблю. И Аня никогда нас не разлюбит.

– А девочки все о любви да о любви... – Когда в кухню заглянул муж, она не заметила. – Тема, конечно, интересная, но кушать все-таки хочется. Когда приступим? Восемь часов уже.

Наташка вскочила и потопала из кухни, отворачиваясь от отца. Он проводил ее недобрым взглядом и спросил у жены без особого интереса:

– Чего это она?

– Анну ждала, чего же еще, – сердито сказала Тамара. – Пирожкам еще минут десять сидеть. Сейчас я стол накрывать буду. Коль, ты бы мусор вынес пока, а?

– Да я же утром выносил, – с заметным недовольством заявил Николай. – Откуда ты столько мусора берешь?

– Отовсюду, – устало ответила она. – Целый день квартиру чищу, готовлю, мою, мету... Оттуда и мусор. Ай, ладно. Потом вынесем. Ты деду лекарство дал?

– Черт, забыл... А ты что ж не напомнила?

– Вот напоминаю. – Тамара невольно усмехнулась, предвидя его ответ на следующий вопрос. – А с Чейзом кто погуляет?

– Ну почему все дела на меня валить надо? – возмутился Николай. Впрочем, возмутился как-то вяло, не агрессивно как-то возмутился, даже, можно сказать, мирно. – Мне там еще кое-что сделать надо, и к тому же сейчас «С легким паром!» начнется. И рано еще Чейзу гулять. Мы его потом выведем, попозже, ладно?

– Ладно, – согласилась Тамара, привычно загоняя усталое недовольство поглубже. В конце концов, семья – это самое важное на свете, и так далее, и тому подобное, и все такое, что там еще она только что говорила Наташке... И все это – чистая правда. И нельзя допускать, чтобы из-за каких-то мелочей в семье начался раздрай.

Но, черт побери, как же много этих проклятых мелочей, какая огромная куча этих подлых мелочей, целая гора, просто египетская пирамида, и она чувствует себя замурованной в этой пирамиде, как какая-нибудь Тутанхамонша. Или как их там звали? Тамара торопливо глянула в зеркало над мойкой и очень старательно улыбнулась: да, мол, фараонши мы, никто в этом и не сомневался.

– Тебе, может, помочь? – неуверенно сказал Николай, откровенно прислушиваясь к звукам телевизора. – Может, надо чего?

– Деду лекарство дай, – напомнила она мягко. – Пусть молоком запьет, вот в этой чашке тепленькое, я специально для него согрела.

– А, да, – спохватился Николай, взял чашку с молоком и с озабоченным лицом вышел. Заметно было, что бремя ответственности на своих широких плечах он несет с некоторым трудом.

«Помощник, – хмыкнула про себя Тамара. – Добытчик, защитник и каменная стена. Глава семьи». Впрочем, хмыкнула вполне беззлобно, даже с некоторым веселым снисхождением. В конце концов, можно считать, что с мужем ей повезло. Особенно если сравнивать его с чужими мужьями. Николай не был ни алкоголиком, ни бабником, ни склочником, ни тираном, какими в той или иной степени были практически все чужие мужья, которых она знала. Николай был спокойным и разумным, и это ей в нем нравилось больше всего. Он без проблем уживался с ее бабушкой и дедом, не раздражался из-за бытовых мелочей, не лез в ее методы воспитания детей, не выражал недовольства по поводу бесконечных – и часто неожиданных – визитов ее многочисленных друзей... В общем, можно сказать, что он и сам был ее другом. Да, вот именно, другом. С мужьями это редко случается, насколько она могла судить по рассказам подруг и по собственным наблюдениям. И ко многим вещам он относится так же, как она. Например, переживал, когда умерла бабушка. Дед болеет – и Николай тревожится, вон, понес ему лекарство. Анькино замужество ему нравится ничуть не больше, чем Тамаре... А что он такой... ну, такой невыразительный – это даже хорошо. Ей и на работе хватает криков, выяснений отношений, маханий руками, рыданий в туалете и всякой такой экспрессии. Она

так устает от всего этого за день, что имеет право надеяться на тишину, покой и порядок. Ну, хорошо, порядок ей приходится обеспечивать самой – причем порядок в самом широком смысле, от рядового мытья посуды до организации Анькиной свадьбы... тьфу ты, опять сердце зануло... А уж на покой она имеет право надеяться. Так что все правильно, спокойный, бесконфликтный, мирный... какой еще? В общем, такой, какой он есть, муж ее вполне устраивал. И на своей работе он такой же, и там это тоже всех устраивает. Значит, правильно она сделала, когда почти двадцать лет назад согласилась выйти за него замуж.

Ну и ну... с чего бы она сейчас вдруг об этом задумалась: правильно, неправильно? Тамара даже какую-то неловкость почувствовала, как всегда чувствовала неловкость от мыслей, которые нельзя высказать при детях. Или при бабушке с дедушкой. Таких мыслей она не любила, они ей мешали жить так, как она считала нужным, – открыто и откровенно, ничего ни от кого не пряча, – поэтому такие мысли она давила в зародыше, а их появление объясняла себе перепадом давления, магнитными бурями и всякими другими внешними факторами, которые от нее не зависели. Как Анькино замужество, например. Черт, да что же это такое! Рано еще ее сердцу болеть... Тамара воровато оглянулась на дверь и полезла в холодильник за корвалолом. Ничего, она сейчас эту гадость чесночком заест, а если Наташка все-таки учует запах, так всегда можно сказать, что корвалол нечаянно открыла, с апельсиновой эссенцией перепутала, пузырьки и в самом деле похожи.

На мягкий чмок дверцы холодильника в кухню тут же приперся Чейз, тряся ушами, вертя хвостом, блестя глазами и шумно, со всхлипом облизываясь, – в общем, выражая полную готовность сожрать что-нибудь вкусненькое.

– Ух ты и бессовестный зверь, – удивилась Тамара. – Ты же недавно ужинал!

Чейз сел у ее ног, склонил башку набок, уставился ей в глаза честными глазами и тоненько сказал:

– Й-я?

Тамара засмеялась, потрепала лохматые собачьи уши, сунула корвалол в холодильник и вытащила кусок сыра. Чейз с щенячьего возраста до самозабвения любил сыр, его и называли сначала Чизом, это уж потом он незаметно превратился в Чейза, для удобства произношения. Чейз выхватил у нее из пальцев ломтик сыра, шумно сглотнул и опять выжидательно уставился в глаза, вывалив язык и подхалимски улыбаясь.

– Все, хватит, – строго сказала Тамара. – Потом еще дам, попозже, подожди.

Чейз согласился, но опечалился, шлепнулся посреди пола на пузо, положил морду на вытянутые лапы, расстелив уши на половину кухни, вздыхая и помаргивая грустными глазами, – в общем, всячески демонстрируя свою полную и безоговорочную подчиненность и зависимость. Тамара опять засмеялась и погладила его шелковое ухо босой ногой, а Чейз слегка повернул голову и быстро лизнул ее ногу горячим шершавым языком. Хороший пес, умный. И зачем ей корвалол, если у нее есть такая хорошая и умная собака?

– Наташ, – позвала Тамара дочь, слегка повысив голос. – У меня все готово! Скатерть постелила? Давай-ка посуду расставим.

Настроение у нее улучшилось... ну, не то чтобы улучшилось, но вошло в рамки привычного домашнего спокойствия, и сердце уже не так ныло, и усталость как-то затухала, ушла на задний план. А на переднем плане опять была ее всегдашняя кипучая энергия и жажда деятельности. В конце концов, у нас Новый год или не Новый год? У нас лучший в мире праздник, а мы тут ползаем, как сонные мухи! Быстро, быстро, на стол – вот это и вот это, Наташка, протри вилки, Коля, переоденься, Чейз, не путайся под ногами, пирожки пусть постоят под полотенцем, а вино уже пора достать из холодильника, Наташ, попробуй картошку – сварилась? Салат я уже заправила, неси на стол, Коль, ты бы все-таки переоделся... ну и что ж, что гостей не будет, все равно праздник есть праздник.

Гостей не будет... Ну и пусть, это даже хорошо в данный момент.

И бабушки не будет, бабушка давно умерла, а Тамара каждый раз думает: бабушки не будет, этот Новый год опять без бабушки... В этот раз и деда за столом не будет – дед болеет, простудился сильно, да, может, не так уж и сильно простудился, а вот почти неделю лежит... Все-таки девяносто лет деду, много ли ему этой простуды надо: попил компоту из холодильника – и пожалуйста, постельный режим. Но это ничего, дед у нас еще крепенький, мы его вылечим, через пару дней встанет и за рождественским столом будет еще водку пить и солеными огурцами закусывать...

И Аньки не будет, Анька впервые встречает Новый год не в своей семье, а... то есть нет, как раз в своей семье, в своей новой семье, со своим мужем и своими друзьями. Или с его друзьями? Вот черт, ничего она про этого Виталика толком не знает. Только с родителями кое-как познакомилась, да что родители? Ясно, что в своем мальчике души не чают, так это все родители так. В смысле – если нормальные родители... А мальчик при любых родителях может оказаться так себе. Тамаре казалось, что этот Виталик – даже не просто так себе, а совсем барахло. Но Анька влюбилась в него без памяти, просто помешательство какое-то, Тамара этой придури не понимала: какая такая любовь в восемнадцать лет? Да и вообще все это блажь и патология. Начитаются «Анжелик», насмотрятся телевизора... да хоть бы вот «С легким паром!». Ясно же, что не бывает так в жизни. И не должно быть. В жизни бывает трезвый расчет, планирование собственной судьбы, семья – не с бухты-барахты, а все как следует обдумав, взвесив все «за» и «против». Если, конечно, голова на плечах. А то вон чего получается: надо, не надо, но раз в год в баню прутся, а потом вламываются в чужую квартиру и с пьяных глаз влюбляются в совершенно посторонних женщин. И ведь не молоденькие уже. Да и эта... как ее... Надя! Тоже хороша. За Ипполита вроде бы замуж собирается, а сама какому-то незнакомому алкоголику песни поет. Ах, как романтично – забытый веник в Москву повезла! Где вы видели нормальную бабу, способную на такую невероятную дурь? Ну да, в кино. А в жизни для любой женщины главное – это стабильность, надежность и покой. И пусть эти киношники про любовь рассказывают какой-нибудь Надьке из второго подъезда – три развода, пять аборт, один случайный сын, который вечно у бабушки, и, кажется, в перспективе четвертый брак с каким-то музыкантом. И все – любовь. А семьи не было, нет и, скорее всего, не будет. Анька хоть бы позвонила, что ли...

Аня позвонила в двенадцатом, Тамара как раз собиралась по второму кругу стол накрывать: ужин ужином, но Новый год надо встретить с бокалом шампанского в руках, под бой курантов и обращение президента к народу. В общем, по правилам. Когда телефон заверещал дурным голосом, она чуть посуду не выронила. Сколько раз просила Николая сделать что-нибудь с этим телефоном, ведь орет, как больная пожарная машина! Хотя раньше, надо признаться, это истошное блеяние ненормального телефона ее не раздражало. Раньше – это когда вся ее семья была дома. Тогда она не ждала от телефона никаких неприятностей. А теперь как звонок – так сердце в пятки уходит: а вдруг с Аней что-то не так?.. Тьфу-тьфу-тьфу, не накаркать бы. А если звонка долго нет – еще хуже: как там Аня, что с ней, почему не звонит?

– Нормально, – говорил Николай в трубку своим негромким, размеренным, слегка сонным голосом. – А ты?.. Ну и хорошо... И тебе тоже... Да я вообще-то без тебя не решился... Мы потом вместе купим, ага?

Тамара нетерпеливо пританцовывала рядом, тянула руку к трубке и шевелила пальцами. Наконец Николай попрощался с Анной, отдал трубку жене, и она не выдержала, закричала, стараясь только, чтобы в этом крике не слышались слезы:

– Доченька! С Новым годом! Ты чего ж это днем не забежала? Хотя бы на минутку! У нас для тебя такой подарок! Наталья уже соскучилась! Ну как ты там?

– С Новым годом! – тоже закричала Анна. – Я скоро приду! Завтра! Мы сегодня просто не успели! У меня для тебя тоже подарок есть, и для Натки, и для папы, и для деда... Им привет! У меня все хорошо... Ма, ты там плачешь, что ли?.. Ма?..

– Вот еще, – сердито сказала Тамара и шмыгнула носом. – Когда это я плакала? Насморк у меня. Продуло, наверное. Не бери в голову, у нас у всех все очень хорошо. Вон Наташка поговорить с тобой хочет... Ну все, до завтра!

Она сунула трубку смурной Наталье, которая как раз не выражала ни малейшего желания говорить с сестрой, и смылась от греха подальше в кухню, потому что и правда почему-то собралась реветь, а этого никто не должен видеть. Чейз потрусил за ней, путаясь под ногами, заглядывая ей в лицо тревожными глазами и едва слышно поскуливая. В кухне он сел возле холодильника, открыл пасть, вывалил язык и ожидающе уставился на Тамару. Тамара тут же передумала плакать: в самом деле, какой смысл плакать, если никто не собирается сочувствовать, утешать, гладить по головке и лизать шершавым языком руки? Она-то решила, что хотя бы Чейз, в силу своей тонкой душевной организации, способен понять ее состояние, а эта собака просто мечтает еще кусок сыра выпросить. В комнате Наташка что-то бубнила в телефонную трубку обиженным тоном, и Николай, как всегда не повышая голоса, обратился к жене так, будто она стояла рядом:

– Мать, пора шампанское открывать, Новый год через пять минут.

Да, пора. Тамара потерла лицо ладонями, заглянула в зеркальце над мойкой, сочувственно улыбнулась своему отражению и продекламировала с выражением:

– Никто меня не понимает, и молча гибнуть я должна.

И пошла из кухни к своей семье, к праздничному столу, к шампанскому в хрустальных бокалах, к елке, под которой лежали подарки для Николая, деда и Натуськи, а подарок для Ани лежал нынче не под елкой, а в шкафу, а подарок для Тамары нигде не лежал – забыл Николай о подарке для жены (а Аньке, между прочим, сказал, что без нее не решился выбрать), а Натка свой вручила маме еще утром – маленького мельхиорового скорпиона на тонкой цепочке. Все хорошо, все, как всегда, и Новый год, несмотря ни на что, лучший праздник на свете, сейчас они всей семьей – всей оставшейся у нее семьей – встретят Новый год, а потом она выведет Чейза гулять, поймает снежинку, запомнит ее узор и, пока снежинка будет таять на ее ладони, загадает желание.

...Нет, не так надо встречать Новый год, думала Тамара, глядя на почти нетронутые блюда на столе. А она-то старалась, она-то жарила-парила-варила-пекла... А как тяжело было доставать все это, а сколько пришлось отдать за коробку зефира в шоколаде и бутылку шампанского, еще того, доперестроечного, – об этом она никогда не решится рассказать своим. Бабушка бы очень сердилась, наверное. Хотя сама-то бабушка, даже в самые голодные, самые безденежные, самые беспросветные времена, всегда к Новому году добывала что-нибудь вкусненькое, и никто не знал, как ей это удастся. А ведь бабушка не работала в таком месте, где работает Тамара, бабушка была обыкновенной пенсионеркой, она стояла в очередях с талонами на мыло и перловку, считала копейки и целый год откладывала на подарок внучке к Новому году. Так что не надо сравнивать – Тамаре сейчас все-таки намного легче, даже в эти сумасшедшие времена, даже с этой сумасшедшей Анькой, надумавшей выходить замуж за какого-то сумасшедшего бездельника... Все, пора идти ловить снежинку. Кажется, она знает, какое желание загадает в этот раз.

Николай смотрел телевизор и идти гулять не захотел, Наташка лупала совиными глазами и спала на ходу, ей выходить на мороз незачем, так что Чейза Тамара повела на улицу одна, на ходу что-то ворча про ленивых сонных мух, а про себя неожиданно радуясь выпавшему короткому одиночеству. Вообще-то одиночества она не любила, она его очень хорошо помнила и боялась, и всю жизнь, всю свою сознательную жизнь, делала все возможное для того, чтобы никогда не оставаться одной. Семья, муж, дети, друзья, сослуживцы, соседи... да хоть вообще незнакомая толпа – только бы не быть одной. И когда в толпе ее накрывало это чувство полного одиночества, – она пугалась и терялась ужасно, и не могла ни с кем этим поделиться, потому

что и сама не понимала, что происходит. Наверное, это болезнь. Кто же будет рассказывать о своих болезнях окружающим? Она уж точно не будет.

А вот сейчас, когда на нее накатило это привычное чувство своей абсолютной изолированности от всего мира, своей брошенности, забытости и ненужности, она несколько не испугалась и не затосковала, а почувствовала что-то вроде облегчения. Будто тащила на горбу тяжеленный мешок – незнамо куда и зачем, а потом вдруг подумала: «А куда это и зачем я его тащу?» Бросила – и стоит над ним, радостно изумляясь непривычной легкости и не зная, что дальше делать-то. И слегка пугаясь крамольной мысли: в своем одиночестве она может делать все, что угодно. Ни от кого не завися. Ничего не боясь. Ничего ни от кого не ожидая, но и никому ничего не обещая. Одиночество, если к нему как следует присмотреться, – это свобода. Воля. Независимость. Да здравствует одиночество! Ура!

Чейз твякнул и нетерпеливо затанцевал перед дверью подъезда, а это значило, что во дворе есть знакомые – либо люди, либо собаки, либо, скорее всего, и те и другие. В их доме почти в каждой квартире держали собак, и сегодня, наверное, их вывели гулять после встречи Нового года, как и она. Чейз вылетел из подъезда пулей и радостно залаял. Да уж, одиночество на данный момент отменяется, отметила Тамара, оглядываясь вокруг. Двор у них был большой, благоустроенный, с детской площадкой и сквериком посередине; с одной стороны он отделялся от улицы высоким кованым забором с воротами и калиткой, а с другой стороны, буквально через пару метров, прямо за неширокой пешеходной дорожкой, начинался старый полузаброшенный парк, ужасно заросший и неухоженный, но, тем не менее, нежно любимый многими поколениями детей, их родителей, студентов, пенсионеров, художников, собачников и даже грибников – в парке было полно шампиньонов.

Сейчас и во дворе, и в парке, и на соседней улице было полно народу – и знакомого, и незнакомого. И собак тоже было полно – и из их дома, и, кажется, из всех соседних домов. Все обозримое пространство было заполнено шумом, гамом, лаем, музыкой, песнями, смехом, и из всего этого месива вверх то и дело взвивались ракеты и где-то там, в низких тучах, расцветали букетами огней невыносимой яркости.

– Ух ты, – сказала Тамара с оторопью, – прям не Новый год, а Первое мая какое-то!

– Свадьба, – раздался у нее за спиной раздраженный голос. – Нет, вы подумайте: в такое время – и свадьба! О чем люди думают? Ну и молодежь пошла...

Тамара оглянулась – Иван Павлович из сорок девятой квартиры стоял у подъезда, нежно прижимая к двубортной драповой груди фасона шестидесятых старую левретку Сою, и оба они, и Иван Павлович, и его левретка, с явным осуждением смотрели на все это недопустимое легкомыслие молодежи, одинаково вздрагивая от каждого выстрела ракетницы.

– Да ну, Иван Павлович, – примирительно сказала Тамара, – не такое уж и позднее время. Да и Новый год все-таки... Кто сейчас спит? Никому они не мешают. Вы вон и сами погулять вышли. А уж молодым-то и сам бог велел... Да, с Новым годом!

– Да я не о том, – еще более раздраженно сказал Иван Павлович и брезгливо поморщился. Тамаре показалось, что левретка Соня поморщилась точно так же. – Да, Томочка, и вас с Новым годом... Я о том, что время-то нынче какое! Как можно в наше время создавать семью? Вы что думаете, вот эти молокососы сами свадьбу оплатили? Это ж какие деньги! Гостей человек пятьдесят, может, даже и больше, это я вчерне подсчитал, они же все время перемещаются... Целое кафе заказали – можете себе представить?! А уж потом – сюда, всем стадом... Вон, уже третий раз шампанское открывают! Ужас! При нынешних-то ценах, а?! Ну, я вам доложу... Вы знаете, почему сейчас гречка?

– Да, конечно, – растерялась она. – Только гречка-то здесь при чем?

– А как же? – искренне удивился Иван Павлович. – Кушать-то надо, а? Молодой-то семье! А инфляция?! Что они с инфляцией думают делать? Дети пойдут – пеленки, распашонки, коляска там, кровать... На студенческую стипендию, да? Не-е-ет, я вам доложу, на родитель-

ские гроши, на стариковские пенсии, вот на что! И никакой ответственности! Ни-ка-кой! А я так считаю: не можешь обеспечить семью – не женись. Вот в наше время молодежь головой думала. А эти!..

– Да, конечно, – бормотнула Тамара в смятении, потихоньку отступая от фонтанирующего негодованием соседа. – Иван Павлович, я побегу, а то Чейз, кажется, на улицу рванул, ищи его потом... Спокойной ночи! Всего вам хорошего!

Иван Павлович скрылся в подъезде вместе со своей левреткой Соней, все еще продолжая обличительные речи по поводу безответственности современной молодежи, а Тамара торопливо пошла через двор, едва сдерживая смех. Сумасшедший старик говорил что-то о цене на гречку, а ведь он не мог не узнать жениха, который сейчас как раз танцевал на скамейке посреди заснеженного двора, держа ракетницу в одной руке и бутылку шампанского – в другой, тряс пухлыми младенческими щеками и пухлым борцовским пузом и кричал что-то вроде «Медовый месяц – в Италии!». Мама жениха жеманно куталась в необъятную норковую шубу и заботливо кудахтала:

– Накинь курточку, Боря! Простудишься!

Замшевая Борова курточка на норковой же подстежке небрежно валялась на снегу возле скамейки, и ее задумчиво пинала белой лаковой туфелькой Борова невеста. Она тоже была в норковой шубе – роскошная белая норка, почти полностью укрывающая роскошное белое платье. Похоже, Борова невеста была не из тех, кто плачет от восторга при мысли о медовом месяце в Италии. И, уж конечно, не из тех, кто знает, почему нынче гречка. Из всего норкового семейства только Любовь Яковлевна точно знала, почему гречка, и не только сегодня, но и вчера, завтра, через год, причем – в любой точке мирового пространства. Потому что Любовь Яковлевна всю жизнь проработала в торговле и вообще хорошо знала, что почему, особенно в наше время, в которое Любовь Яковлевна победно всплыла на непотопляемом броненосце закрытого типа, даже если и не капитаном, то, как намекали знающие люди, как минимум, – первым незаменимым помощником капитана. Так что пусть бедный Иван Павлович даже не волнуется о будущем молодой семьи.

Вот интересно, а почему у самого Ивана Павловича семьи нет? Неужели в свое ответственное время он не женился потому, что боялся семью не прокормить? Насколько Тамара знала, бедный пенсионер Иван Павлович всю жизнь проработал в «органах» – это он сам так говорил, – и «располагал возможностями» – это он тоже сам так говорил. Возможности, наверное, были те еще, поскольку у бедного пенсионера Ивана Павловича была трехкомнатная квартира, в которой он жил с левреткой Соней, и две двухкомнатные, которые он сдавал «за умеренную плату», – это не сам он говорил, это сказала при дворовой общественности его приходящая домработница баба Надя. От бабы Нади же дворовая общественность знала и о страшном количестве антиквариата, собранного в трех комнатах за семью замками. Баба Надя, правда, не говорила слова «антиквариат», она говорила «статуечки, финтифлюшечки, часики всякие». Но дворовая общественность сразу все поняла, когда баба Надя обмолвилась, что одну из двухкомнатных квартир пенсионер Иван Павлович выменял когда-то на одну из картин, которых у него на всех стенах – как мух в столовке. Картина была так себе, не из самых ценных, так что Иван Павлович, тем более испуганный инфляцией, с ней расстался без душевной боли. От ненужной картины какой прок? А квартира все-таки приносила ежемесячный доход, пусть даже и умеренный... Так что же все-таки думал бедный Иван Павлович об аппетитах своей возможной семьи, если, при таком-то раскладе, решил, что не сумеет ее прокормить, – потому и не завел?

У Тамары вдруг резко испортилось настроение. И она догадывалась, что ни при чем тут ни сумасшедший старик, ни разухабистая норковая семейка, а все дело в Анькином замужестве. Уж как она старалась не думать, не вспоминать, не тревожиться – так нет, обязательно кто-нибудь влезет с разговорами о неразумности создания семьи в наше безумное время, а

еще хуже – обязательно кто-нибудь прямо посреди двора будет выпускать в небо пробки от шампанского и нестерпимо яркие ракеты и кричать что-то про медовый месяц. Надо скорее поймать снежинку, загадать желание, позвать Чейза и идти домой. Спать уже хочется, а там еще гора грязной посуды. И мусор она прихватить забыла...

Чейз шнырял в кустах на опушке парка, и Тамара не спеша пошла туда, держа руку перед собой ладонью вверх. Подайте, Христа ради... Снег падал редкий, можно сказать – совсем не падал. Так, пара снежинок на весь двор. И те пролетели мимо ее руки. Те, которые пролетели мимо, – это не ее снежинки, даже если исхитриться, извернуться, дотянуться и все-таки поймать, – они все равно желания не исполнят. Ее снежинка ляжет на ладонь сама, это всегда так было: даже если шел беспросветный снегопад – на ладонь опускалась все равно одна снежинка, и если снег вообще не шел – одна снежинка все равно опускалась на ладонь. Всегда так было, и сейчас будет, надо только остановиться под фонарем, чтобы разглядеть и запомнить узор снежинки и как следует сформулировать желание. Вот так: «Пусть Анна будет счастлива». Ведь именно этого она хочет, правда? Вообще-то она хочет, чтобы вся ее семья была счастлива. Она для этого делает все, что может. Но ведь есть вещи, которые от нее не зависят... Если бы она могла, она не допустила бы, чтобы Анна выходила замуж за этого козла. Натуська кругом права, и не надо было ей нотации читать... Так, спокойно. Вот она, снежинка, которая сама прилетела и уселась на пуховый ворс варежки. Не звездочка, а пластинка – шестиугольная ледяная пластинка с едва заметным тиснением незаконченного рисунка на каждой стороне... Красивая какая, Тамара еще таких не ловила. Такая снежинка выполнит самое главное ее желание, в этом нет никаких сомнений. Ну-ка, что мы там задумали?..

– Ты хоть представляешь, как я тебя люблю?

В хриплом, навверное, простуженном мужском голосе была такая сила, такая страсть, такое отчаяние, что Тамара даже дыхание затаила, чувствуя, как от кончиков пальцев по коже побежали электрические мурашки. Обычно с ней так бывало, когда она чего-нибудь сильно пугалась или, наоборот, чему-нибудь сильно радовалась.

Она невольно оглянулась, будто ее окликнули, будто это ей предназначались горячие хриплые слова, от которых по коже бегут электрические мурашки... Из глубины парка к опушке неторопливо шла пара – немолодые в общем-то люди, навверное, ее ровесники. Что-то в них было странное, неправильное что-то... А, ну да. Они были разные, слишком разные, чтобы быть парой, и все-таки были ею. Тамара не могла бы объяснить это словами, но остро чувствовала: эти двое – из разных миров, из разных галактик, может быть, вообще из разных времен, но, тем не менее, они просто обязаны быть парой. Она увидела это сразу, как чуть раньше увидела то, что Боря и его невеста хоть и были одной норковой породы, но парой могли и не быть.

Неправильная пара медленно приближалась, теперь Тамара могла рассмотреть их как следует и каждое их слово могла слышать. Это, навверное, было нехорошо – вот так откровенно пялиться, развесив уши, но удержаться было совершенно невозможно.

– Пятнадцать лет! – хрипел мужчина простуженно, и от его голоса пространство вокруг накалялось, плавилось, плескалось в солнечном сплетении и завязывалось вокруг сердца узлом. – Я ведь старался забыть, честно... Я же не пацан, я знаю – все проходит! А не проходит! Черт... Может, это патология? Может, таблеток каких попить? Только я не хочу, чтобы проходило... Пятнадцать лет! Галь, что же ты наделала, а?

– Ты же знаешь, сколько тогда на меня свалилось... – Тонкая струнка голоса женщины вспыхнула и исчезла в расплавленном пространстве. – У тебя была перспектива и все такое... А у меня одни проблемы...

– Проблемы были у Лидки, а не у тебя, – перебил мужчину и закашлялся.

– Ну да, – слабо согласилась женщина. – Но это все равно, я же не могла их всех бросить... А тебе на шею вешать – совсем нечестно...

Мужчина остановился, взял свою спутницу за плечи и сильно встряхнул.

– Галь, ты дурочка, – с каким-то веселым отчаянием сказал он. – Я так и знал. У твоей Лидки проблемы всегда были, есть и будут. А если бы тебя не было – на ком бы она повисла?

– На маме. – Женщина тихо заплакала. – Это совсем нельзя... Я бы с ума сошла...

– Ты и так сумасшедшая. – Мужчина пошарил по карманам, нашел носовой платок и стал неловко, но очень старательно вытирать лицо женщины. Она стояла не шевелясь, руки по швам и тихо всхлипывала, а мужчина говорил ей в лицо хрипло, горячо и напористо: – Лидка всегда найдет шею, на которую можно сесть. Это не твои проблемы. Забудь о Лидке, ты ничего ей не должна. Ты никому ничего не должна! Завтра же уедем! И так пятнадцать лет жизни псу под хвост!

– А мама? – испугалась женщина. – Как мама без меня?

– С собой возьмем.

– Нет, она не поедет. – Женщина опять тихо всхлипнула. – Она болеет очень... И помешать побоится... И все-таки внуки у нее здесь... А я без нее как?

– Мама у тебя тоже сумасшедшая, – задумчиво сказал мужчина. – Надо же – помешать побоится! У вас в семье одна нормальная, и та – Лидка... Ладно, придется мне сюда переезжать. А внуки – дело наживное. Мы ей и сами внуков нарожаем. Как тебе такая идея?

Женщина перестала плакать и со странным выражением посмотрела ему в лицо.

– Мне все-таки уже почти тридцать три, – осторожно сказала она. – Это ничего, как ты думаешь?

– А мне сорок, – отозвался он с легким недоумением. – Это ничего?

– Дим, – сказала она нерешительно. – Ты знаешь, что я думала? Я думала, что жизнь уже прошла.

Он засмеялся, опять закашлялся, захрипел весело:

– Я же говорю – сумасшедшая. Что с тебя возьмешь... Пошли к твоим, мать, наверное, беспокоится – долго мы уже гуляем...

Они повернулись и пошли в глубь парка, туда, откуда пришли, а потом, наверное, выйдут на площадь и свернут направо – там квартал жилых домов, а потом придут в квартиру этой женщины, где ее ждет больная мама, и мужчина простуженным хриплым голосом, наверное, попросит у больной мамы руки ее дочери, и пространство вокруг будет плавиться и завязываться узлом вокруг сердца, и никто, конечно, не будет бояться.

Они уходили – такие разные, даже странно: она, выглядевшая намного старше своих почти тридцати трех, в поношенной стеганой куртке, дикой облезло-оранжевой с фиолетовым расцветки, в растянутой вязаной шапочке со свалывшимся помпончиком, в серых войлочных сапогах, нелепо торчащих из-под коротковатых темных брюк; и он – весь стильный и небрежный, в черном длинном кашемировом пальто нараспашку, и в черном смокинге – Тамара была уверена, что под пальто у него непременно смокинг, и белая сорочка, и скромный галстук, на который не хватит и годового дохода нормального человека, а в кармане пальто должны быть перчатки, которые наверняка дороже галстука раз в пять... Скорее всего, и часы у него золотые.

Они уходили, и за ними уходили их слова, и пространство вокруг остывало, узел вокруг сердца слабел, а она не хотела этого, все цеплялась за горячее хриплое эхо, все прислушивалась к тающему вдали разговору:

– А как же твоя работа?

– Ерунда, и здесь найду...

– А где мы жить будем?

– Куплю квартиру...

– У тебя есть такие деньги?

– Заработаю, займу, машину продам...

– Ты сумасшедший.

– Я тебя люблю.

Тамара будто очнулась, огляделась вокруг, увидела Чейза, деловито снующего в кустах, увидела норковую свадьбу, все еще копошащуюся во дворе, увидела свою руку, протянутую вперед ладонью вверх. Оказывается, она так и простояла все это время – «подайте, Христа ради», и шестиугольная пластинка снежинки все еще лежит на пуховом ворсе рукавички, ждет, когда Тамара задумает желание. Тамара забыла, что хотела загадать. Сейчас она вспомнит, сейчас, сейчас... Надо что-то загадать, и идти домой, и вымыть лапы Чейзу, и проверить, как там дед, и уложить Наташку – наверняка еще не легла, таращится небось совиными глазами в глупый телевизор, – и убрать со стола, и перемыть посуду, и лечь спать – да, поскорей бы лечь спать, она так устала, просто уже нет никаких сил, а завтра – опять все сначала, и так каждый день, круглый год, всю жизнь...

Черт, у нее никогда не было ничего похожего на то, что она только что видела и слышала. Никогда от звука чужого голоса пространство не плавилось и не скручивалось узлом вокруг сердца. Никогда ей в голову не приходило плакать, когда ей объяснялись в любви. Впрочем, так ей в любви никто и не объяснялся. Никогда, никогда, никогда... Да она и сама никогда не ждала такого, и не хотела, и даже не верила, что такое может быть, и не надо ничего такого в жизни, в жизни главное – покой, стабильность, порядок... И чтобы вся ее семья была счастлива.

Неужели она проживет жизнь, всю долгую, размеренную, невыносимо скучную жизнь, так никогда и не узнав, что это такое? Что такое – вот это, что есть у этой неправильной пары... Тамара даже в мыслях боялась назвать это любовью. Почему-то боялась – и все. Стеснялась. И не понимала, почему простуженный мужик не боялся и не стеснялся, хрипел на весь мир, как он любит свою сумасшедшую... Сам сумасшедший, наверное.

Неужели с ней никогда такого не случится? Никогда, никогда, никогда... Хотя бы раз, один-единственный раз в жизни! Чего бы только она не отдала, чтобы хотя бы раз в жизни испытать, что это такое... Чтобы в нее влюбились вот так... Или чтобы она вот так влюбилась...

Чейз прискакал, стал крутиться под ногами, соваться башкой ей в колени – намекал, что пора бы уже и домой, в тепло, в уют, в одуряющие запахи кухни. Да, пора. Тамара пригляделась – странная пластинчатая снежинка уже растаяла, ну да, сколько можно ждать, пока сформулируют желание... Хотя она вроде бы успела сформулировать: счастье семьи и все такое...

– Пойдем, Чейз, – устало сказала Тамара и побрела к подъезду, вяло сторонясь броуновского движения гостей норковой свадьбы. А что, у людей семейный праздник, имеют право.

Господи, до чего же она терпеть не могла все эти семейные праздники!

Глава 2

Они поссорились. Они поссорились впервые, и это было так странно и так страшно, что Тамара боялась даже думать об этом, просто запретила себе: не вспоминай, ничего не случилось. Просто приснилось что-то очень нехорошее, и теперь ни с того ни с сего ноет сердце, болит голова, дрожат руки, и вообще все не так, как надо. Просто на дурные сны нельзя обращать внимание, нельзя их вспоминать, толковать и анализировать – и тогда они быстро забудутся, никак не влияя на жизнь.

Не вспоминать и не анализировать не получалось. Она вновь и вновь возвращалась в этот сон, стараясь задним числом передумать его, переделать, сказать какие-то другие слова и услышать другие слова, а лучше бы – вообще никаких слов не слышать...

Ведь началось-то все с пустяка. С такой ерунды, что она и сейчас, когда лавина обрушилась и раздавила ее, не верила, не могла поверить, что началом этой лавины стал даже не мелкий камешек, а так, сухой листок, занесенный в неподходящее время в неподходящее место случайным сквозняком.

После очередной убогой презентации, где требовалось обязательное присутствие совершенно необязательного народа, Тамара забежала к себе в кабинет – переобуться, новые туфли оказались невыносимо неудобными, в них она до дому просто не дошла бы. Она переобулась, покидала в сумку всякие необходимые мелочи, по обыкновению оставленные на столе, и присела на минутку – выкурить в тишине и покое сигаретку, о которой она мечтала почти три часа. И тут дверь открылась и вошел Евгений, мрачный и раздраженный. Наверное, олимпийское спокойствие и вежливые улыбки на этой чертовой презентации и ему дались нелегко.

– Устал? – с сочувствием спросила Тамара. – Ну и сборище, да? Зачем они все это организуют? Позорятся только... Я тоже ужасно устала. Прямо ноги не держат.

– Что-то не похоже, – желчно заявил Евгений, глядя на нее злыми глазами. – Порхала весь вечер, как бабочка над цветами. Над цветочками-василечками.

– Ну вот еще. – Она вяло улыбнулась, почему-то решив, что он пытается сделать ей комплимент. Только вот тон у него был какой-то странный... – Скажешь тоже – порхал а! Я женщина солидная, мне порхать возраст не позволяет. Да и не было там никаких цветочков, тем более васильков... Слушай, а правда, вот интересно: такие деньги во все это вбухали – и ни одного цветочка! Как ты считаешь – это они просто не подумали или для экономии?

– Перестань, – оборвал ее Евгений все таким же противным голосом. – Не уводи разговор в сторону. Ты прекрасно поняла, о каких василечках я говорю.

– Нет, не поняла, – совершенно искренне ответила Тамара.

Она вообще не понимала, что происходит. Похоже, никакого комплимента он говорить не собирался. Тогда вообще о чем идет речь? Что-то уж очень сильно он злится. Может быть, случилось что-то, о чем она не знает? И, судя по всему, это «что-то» касается ее. Тогда тем более странно, что она об этом не знает. Конечно, в этом здании вечно бурлили, бродили и вызревали всякие слухи, сплетни, дурацкие домыслы и откровенные наветы, они возникали на пустом месте, переплетались, модифицировались, питались друг другом и в конце концов застывали цементной плитой «есть мнение». Имя им было легион, и знать все это было невозможно. Но Тамара всегда была в курсе по крайней мере самых важных «мнений», а уж если дело касалось ее, то всегда все знала до мелочей. А сейчас не знала. Наверное, что-то свеженькое. И к тому же – неприятное. Уж очень Евгений свет Павлович сердит, она его таким и не видела никогда.

– Жень, говори по делу, не томи. – Она сломала в пепельнице недокуренную сигарету и полезла в пачку за новой. – Ну, что там еще стряслось? Серьезное что-нибудь или просто кто-нибудь языком метет?

– А что ты считаешь серьезным? – резко спросил он. – Для меня, например, все это очень серьезно.

– Что – это? – встревожилась она. – Жень, ну что ты вокруг да около! Говори сразу! У тебя что, неприятности?

– А ты считаешь, что мне это должно быть приятно, да? – с едва сдерживаемой яростью заговорил он. – Я что, должен радоваться, когда ты с этим сопляком перемигиваешься?

– С каким сопляком? – растерялась она. – С кем это я перемигивалась? Ты что, с ума сошел?

– И хихикала! – Он, не слушая ее, уже почти кричал. – Глазки строила! Он на тебя весь вечер пялился!

– Тихо! – Тамара заметила, что и сама почти кричит, перевела дыхание и сказала спокойнее: – Давай по порядку. Кто пялился?

– Ты прекрасно знаешь кто, – помолчав, холодно сказал он. – Зачем этот киношник тебе понадобился? Он что, пообещал тебе главную роль в своем новом фильме? Ради чего это ты с ним так любезничала?

Тамара с изумлением уставилась на него, не понимая, не желая понимать, как он может высказывать ей какие-то претензии в связи с каким-то случайно залетевшим на халяву киношником Васей. Да и вряд ли этот профессиональный посетитель провинциальных презентаций на самом деле был киношником... А если и был – то наверняка из сорок девятого эшелона. Если и вовсе не из сто двадцать седьмого. И при чем тут она? Она что-то не помнила, чтобы на этой презентации хоть с кем-нибудь общалась больше трех минут. А с киношником Васей и того меньше – он рассказал какой-то анекдот о жизни режиссеров, она смысла не уловила, но вежливо посмеялась. Ну не из-за этого же весь сыр-бор?

– Тьфу на тебя, – с облегчением сказала Тамара и опять сломала в пепельнице недокурную сигарету. – Как ты меня напугал... Я подумала, что и вправду что-нибудь серьезное.

– Конечно, для тебя это пустяки! Перед всеми хвостом мести! Ничего особенного! Дело привычное!

Тамара обиделась и рассердилась. Это было очень несправедливо. И еще это было очень не похоже на него, совсем не похоже, за много лет она не слышала от него ничего подобного, не видела его таким... невменяемым. Сердитым видела, и даже злым, и отношения они время от времени выясняли, и не раз обижались друг на друга... Но никогда он не оскорблял ее.

– Жень, подожди, – сказала она беспомощно. – Ты себя-то слышишь? Ты думаешь, что говоришь? Ты что, на самом деле так считаешь?

– Да, – отрезал он зло. – Я так думаю. И все так думают. И не делай такие невинные глазки! Ты и сама прекрасно знаешь, что это правда! Ты и со мной спуталась, чтобы карьеру сделать! Любовь! А сама с мужем не развелась! Семья ей важнее! А из меня дурака можно делать, да? Глазки кому попало строить?!

Он говорил и говорил, но она уже почти ничего не слышала, сидела, не ощущая собственного тела, неподвижными глазами смотрела в его бледное, осунувшееся, злое лицо. Совершенно чужое лицо. Как его лицо могло вдруг стать для нее чужим? Это было совершенно невозможно.

Кажется, он закончил сольное выступление и о чем-то спрашивал ее. Она не поняла – о чем, просто не услышала. Так и сидела, сведенная судорогой боли и беспомощности, и смотрела на него пустыми глазами. Он тоже какое-то время молча смотрел на нее, потом вдруг резко повернулся и вышел, хлопнув дверью. Не нарочно – просто не придержал, чтобы не хлопнула, а ведь всегда придерживал...

О чем хоть она думает? Двери какие-то. Думать надо совсем о другом. Думать надо о том, как теперь жить.

...Какой день она думает, как теперь жить? Она не помнила. Первые дни после их ссоры, когда Тамара еще ходила на работу, она считала: прошел один день... два... три... Наверное, завтра он придет – и все будет хорошо. Семь дней, восемь... одиннадцать... Просто ему неловко после всего этого прийти как ни в чем не бывало. Он, наверное, сначала позвонит. Пятнадцать дней... двадцать... тридцать... Может быть, позвонить ему самой? Страшно. Ей было страшно, потому что она все время помнила его чужое лицо и его чужие слова.

А потом она заболела и перестала считать дни и ждать его звонка. И перестала думать, как жить дальше. Как-то так получилось, что жить дальше совершенно не интересно, ну и думать тут не о чем. Так она и лежала круглыми сутками, ни о чем не думая, ничего не желая, почти не замечая, кто там ходит по дому, входит к ней, что-то говорит, дает лекарство... Она послушно глотала таблетки, запивала водой, вслушивалась в голоса, которые о чем-то ее спрашивали, – и не понимала, кто и о чем ее спрашивает. Иногда отмечала про себя: это дочери... это муж... это Лена, она у нее работает... Хотя нет, Лена работает уже не у нее. У Лены теперь другой начальник. Или начальница? А, все равно. Теперь ей было вообще все равно. Всегда. Она ничего не хотела и не ждала, потому что знала, что скоро умрет, а что можно хотеть и ждать обреченному? Разве только покоя. А то все ходят, говорят, спрашивают, пытаются лечить, пытаются покормить, пытаются делать бодрые лица и голоса... Ей мешали бодрые лица и голоса. Ей любые лица и голоса мешали. Они не давали ей спать. Спать, спать, спать... Если она сейчас и могла что-нибудь хотеть, чего-нибудь любить, чего-нибудь ждать, так это был сон. Сны... Нет, все-таки сон. Потому что он был один, просто многосерийный. Одна серия заканчивалась – и она просыпалась. Она засыпала – и начиналась следующая серия. Она покорно пережидала периоды бодрствования, в мельчайших подробностях вспоминая предыдущую серию этого многосерийного сна, и, как только ее оставляли в покое, тут же засыпала, робко ожидая продолжения. Она заранее знала, что ей будет сниться, но все-таки немного побаивалась: а вдруг что-нибудь не то? Но всегда снилось то.

Это началось еще тогда, когда она не считалась больной, когда еще ходила на работу, и общалась с людьми, и выполняла привычные обязанности, и возвращалась домой, и что-то делала по хозяйству, и даже, кажется, смотрела телевизор. Или уже не смотрела? Наверное, не смотрела, потому что уже тогда старалась поскорее уснуть. Уснуть и видеть сны...

Первую серию этого сна Тамара увидела в первую же ночь после ссоры с Евгением. Сон был точным повторением того, что было в ее жизни, и когда она проснулась, то горько расплакалась от того, что сон оказался таким коротким. Хотя и вместил в себя целый год – тот первый год, когда не вовремя растаявшая снежинка исполнила ее нечаянное желание.

...Было так, будто они увидели друг друга впервые – и оба тут же потеряли голову. А ведь на самом деле были знакомы несколько лет... ну, не то чтобы кто-то их специально знакомил, но, работая в одной структуре, невозможно было не встречаться на совещаниях, не сталкиваться в столовой, не здороваться, случайно увидевшись на улице... И невозможно было не знать друг о друге все, потому что здесь все всё друг о друге знали. Она никогда специально не прислушивалась к разговорам на тему «кто, где, с кем, о чем, когда, какая квартира и на ком женат (за кем замужем)», но, как оказалось, и она запомнила ненароком много подробностей из того, что о нем говорили. Правда, как потом выяснилось, процентов девяносто из всего этого было чистой воды брехней, как брехней было процентов девяносто из того, что говорили о ней. Когда это обнаружилось, Тамара страшно расстроилась, а Евгений искренне веселился, дразнил ее, рассказывая якобы услышанную им новую дикую сплетню, и время от времени пугал предположениями о том, что будут говорить, когда узнают о них. Вот странно: в коллективе, где нельзя было даже посмотреть на кого-то без того, чтобы из этого тут же не сделали далеко идущие выводы (а иногда – и оргвыводы), никто ничего не знал об их романе. Об их любви. Это была та самая любовь, в которую Тамара раньше не верила, считала дурью, патологией, сумасшествием и злостной мистификацией киношников.

Нет, это не было мистификацией. Дурью, патологией – может быть. Сумасшествием – наверняка. Но никак не мистификацией. Это было что-то очень настоящее, что-то настолько реальное, что все остальное в жизни казалось просто ожиданием этой любви. Да, вот именно: все, что она видела, слышала, чувствовала и делала до сих пор, – все это было только для того, чтобы стать той, в которую влюбился Евгений. И он, конечно, жил не просто так – он тоже создавал себя таким, в которого она не могла не влюбиться. Ей было совершенно ясно, что они и родились-то для того, чтобы в конце концов встретить друг друга, найти, узнать. Она поверила в древний миф о двух половинках, которые ищут друг друга, потому что составляют одно целое и друг без друга просто не могут жить. Она знала, что и Евгений чувствует то же самое.

Она очень изменилась. Ощущение горячего, пьянящего, нестерпимого счастья будто отгородило ее ото всех – от друзей, от работы, даже от семьи, – и в то же время все, что ей приходилось делать, получалось как-то на редкость легко, играючи, как бы само собой.

Иногда по привычке она заглядывала в зеркальце над кухонной мойкой – и зажималась, не решаясь поверить в то, что видела своими глазами. В принципе, раньше она себе нравилась... Ну, почти всегда. Но никогда даже и не подозревала, что может быть такой красавицей, что на свете вообще бывают такие красавицы. Она видела женщин, которые со временем расцветали, хорошели необыкновенно, но всегда это происходило постепенно, именно со временем. С ней произошло что-то другое, она не расцветала со временем, и никакого времени у нее не было на всякие такие расцветания. Это произошло мгновенно, будто от удара молнии треснула скорлупа, в которой она была замурована, и осыпалась, и исчезла, открывая ее – новую. А горячий, напряженный, чуть хриплый голос Евгения плавил пространство вокруг нее, он говорил сумасшедшие, невозможные слова, и этот голос, эти слова меняли ее безвозвратно. Тогда, в первый вечер, когда он провожал ее до дому, и крепко держал за руку, и плавил пространство своим горячим хриплым голосом, она ничего не говорила ему в ответ. Она была ошеломлена, испугана – и счастлива. Вот такая, испуганная и счастливая, она и вошла в собственную квартиру, которая вдруг показалась ей чужой, и на диване в гостиной валялся совершенно чужой человек, который вот уже двадцать лет был ее мужем.

Николай медленно оглянулся на нее, сказал «привет» своим неторопливым спокойным голосом, хотел отвернуться к телевизору, но вдруг замер, пристально рассматривая ее, и на лице его все явственнее проступало недоумение. Или недовольство? Тамара поймала себя на мысли о том, что никогда не могла понять выражения лица мужа.

– Ты что, влюбилась? – без выражения спросил Николай после минутного молчания.

– Да, – ответила она растерянно.

До его вопроса она не знала об этом. И кажется, пока не была готова узнать. Но он спросил – и она ответила «да», и поняла, что это правда и что теперь делать – она не знает.

– И что ты будешь делать? – опять помолчав, спросил Николай все тем же спокойным, слегка сонным голосом.

– Не знаю, – честно ответила Тамара и тут же запаниковала. – А ты?

– А при чем здесь я? – Николай поднялся с дивана, потоптался на месте, пожал плечами. – Не я же влюбился... Я ничего не должен делать. У меня семья, я о семье должен думать.

Он повернулся и вышел из комнаты.

Тамара постояла, растерянно оглядываясь, будто попала в незнакомое место и теперь не знала, что ей здесь делать, а потом на автопилоте начала привычную возню: подошла к телевизору, выключила его, поправила покрывало на диване, аккуратно свернула плед, убрала подушку в шкаф, вытряхнула окурки из пепельницы, собрала с пола газеты и сложила их стопкой на журнальном столике, поставила на плиту чайник, перемыла посуду, покормила Чейза, начистила картошки, поставила ее варить и в ожидании Наташки зашла к деду поговорить. То есть она знала, что говорить об этом с дедом не будет, но ей казалось, что, о чем бы она с ним

ни говорила, ей станет яснее, что делать с этим. Потому что странный разговор с Николаем ничего не прояснял, а, наоборот, все запутывал.

Дед сидел в кресле под торшером и читал газету. Выглядел он неплохо, даже, можно сказать, очень хорошо выглядел – бодрым и вполне здоровым. Только очень сердитым.

– Пап, ты как себя чувствуешь? – спросила Тамара, устраиваясь на ковре рядом с креслом деда и прижимаясь головой к его коленям. – Я тебе виноградику принесла. «Дамские пальчики».

– Как я себя чувствую! – сварливо сказал дед, привычно опуская сухую прохладную ладонь на ее стриженный затылок. – Как дурак я себя чувствую! Всю жизнь жили – не тужили, горя не знали, а теперь вон чего! И тебе Чечня, и тебе бандиты, и тебе беженцы, и тебе наркоманы... Виноград почему брала?

– Нипочем, – соврала Тамара, потихоньку радуясь боевому дедову настрою. – Пап, ты же знаешь – я взятки виноградом беру. И сыром. Сыр я тоже принесла, твой любимый, с вот такими дырками!

– Ага. – Дед саркастически хмыкнул и потрепал ее за ухо. – А селедочкой ты взятки не берешь, а? Солененькой... С лучком и постным маслицем!

– Селедкой не беру, – отрезала Тамара строго. – Тебе селедку нельзя, ты же знаешь. А виноград можно. Что дают – то и ешь.

– Балуеть ты меня, доченька. – Дед вздохнул, погладил ее по голове, и Тамаре показалось, что рука у него дрожит. – За что ж мне счастье такое на старости лет? Живу, как в раю, и умирать не надо...

– Не надо, конечно, не надо, – быстро согласилась Тамара. – Папочка, ты уж не умирай, пожалуйста! Как я без тебя?

Дед тихонько засмеялся, опять погладил ее по голове, вздохнул и заговорил назидательным тоном:

– Умирать когда-нибудь все равно придется. Все умирают. Ты об этом не думай. Ты о жизни думай. У тебя и без меня жизнь будет. У тебя семья, дети – вот о них ты и думай... У тебя случилось что? Чего маешься-то?

– Я вспомнила, – сказала Тамара нерешительно. – Я еще маленькая была и нечаянно услышала... Мама тебе говорила что-то такое... что-то про то, что ты хотел от нее уйти... ну, к другой женщине. А тут я появилась – и ты остался. Из-за меня. Это правда?

– Правда, – с удовольствием подтвердил дед. – Слышала, значит... И как запомнила? Тебе и трех тогда не было... Хотел уйти, было дело. По молодости каких дров не наломаешь! Мы с Настей тогда ссорились сильно. Все ссорились и ссорились... Ну, я и взбрыкнул: мол, не нравлюсь – так другой какой понравлюсь! Какая помоложе! Мне тогда только пятьдесят стукнуло, что за возраст для мужика? А Настя была на пять лет меня старше, ты же знаешь... Ох, как она обиделась... Если бы не ты, так бы она и не простила, так бы мы и разлетелись в разные стороны. И была бы у меня совсем другая судьба.

– Пап, выходит, я тебе всю жизнь перекроила? – Тамара подняла голову, тревожно заглядывая деду в лицо. – Выходит, если бы не я, ты, может быть, был бы счастлив с кем-нибудь еще... ну, с какой-нибудь молодой и красивой. И дети, может быть, у тебя свои были бы...

– Глупая ты, – сказал дед сердито. – Молодая еще – вот и глупая. Разве ты мне не своя? Может, если бы не ты, так я и счастья настоящего не знал бы. Женщина – это одно дело, это совсем другая любовь... Какая ни будь сильная, а все равно проходит. А семья – это дети, важнее этого ничего в мире нет. Ты же это и сама знаешь, что я тебе об этом говорю... Вот важнее тебя у меня ничего в жизни и не было...

– Папа, я тебя люблю, – сказала Тамара, опять утыкаясь головой в его колени и стараясь не заплакать.

– Так потому и живу, – рассудительно заметил дед, легонько отталкивая ее, и зашуршал газетой. – Иди, займись делом. Сейчас небось Наташенька придет. Кушать захочет. И твой голодный сидит. Иди, иди, не трать время на меня.

И Тамара пошла заниматься делом – встречать Натку, накрывать на стол, кормить свою семью и ждать звонка Анны. Все было как всегда, и все было не так. Николай, как всегда, молча ел, не обращая внимания на нее и не прислушиваясь к щебетанию дочери, – это было привычно, но сейчас выглядело странным и неправильным: как он мог вести себя, как всегда, после их разговора? Сама Тамара, как всегда, подавала тарелки и убирала тарелки, резала хлеб, заваривала чай, а в перерывах между всей этой мелкой суетой присаживалась к столу, чтобы успеть что-то проглотить, и дать отдых ногам, и ответить на сто двадцать пятый Наташкин вопрос, и опять вскакивала, чтобы отнести деду чай, печенье и виноград и налить Чейзу свежей воды... Как она могла вести себя, как всегда, после их разговора?

После ужина она вымыла посуду, приказала Наташке ложиться спать, а сама стала одеваться, готовясь вывести Чейзу на прогулку. В прихожую выглянул Николай, неуверенно предложил:

– Хочешь, я с ним погуляю?

Как всегда...

– Да ладно, – как всегда, ответила Тамара. – Не надо, я уже оделась... Чейз, гулять!

Было уже поздно – одиннадцатый час, наверное, – и во дворе, темном и тихом, никого не было, со стороны улицы изредка доносился шум проезжающей машины, а с другой стороны, из глубины почти не освещенного парка, слышался молодой бесшабашный смех. Кажется, не очень трезвый. Вдруг там что-то хлопнуло, зашипело, и в низких тучах над голыми ветками деревьев расцвел букет разноцветных огней невыносимой яркости. В парке восторженно завизжали, загомонили, захохотали, и Тамара тут же вспомнила прошлый Новый год, и норковую свадьбу у них во дворе, и медленный редкий снег, и свою протянутую руку – «подайте, Христа ради»... Если можно было бы вернуться в ту ночь, она бы думала только о том, что Аня должна быть счастлива. Она ведь и думала только об этом, она не хотела загадывать никакого другого желания – только счастье для Ани. Она ведь предчувствовала, да нет, она точно знала, что Ане понадобится помощь providения... И она почти загадала желание, почти сказала его вслух, и странная пластинчатая снежинка уже нашла ее протянутую руку, оставалось только высказать свое желание этой снежинке, чтобы она растаяла от тепла слов, и впитала эти слова в себя, и растворила их в мировом пространстве, в космосе... В чем там положено растворяться загаданным в новогоднюю ночь желаниям? И все у Анны было бы хорошо... Тамара невесело хмыкнула про себя. Она знала, что суеверна, что придает слишком большое значение приметам, совпадениям, числам, именам... Знала, что все это – ерунда. Но ей нравилось быть суеверной, ей нравилось придавать значение всей этой ерунде. И за такое к себе отношение вся эта ерунда никогда ее не подводила: приметы сбывались, желания исполнялись, совпадения помогали ей жить... И если бы тогда, почти год назад, она успела загадать желание про Анну, – не было бы у ее доченьки такого тягостного, такого страшного года, не замучил бы ее этот наркоман до полубезумного состояния, не осталось бы у нее в душе выжженной пустыни... Ладно, сейчас все, кажется, налаживается... тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить бы. Аня оживает, успокаивается, поступила в институт, у нее новые друзья и подруги, похоже, вполне нормальные ребята. Но как же тяжело все это далось! Неполные два месяца замужем за алкоголиком, наркоманом и садистом до неузнаваемости изменили Анну. И дело даже не в том, что от глупой детской доверчивости, от наивной романтической веры в совершенство мира не осталось и следа. Дело в том, что Анна научилась бояться. Сначала Тамара думала, что дочь боится своего безумного мужа, но и после развода она боялась... Чего? Безумный муж исчез, будто его и не было, никто его не видел, ничего о нем не слышал, ничто не напоминало Анне о том, кого она (во имя великой любви, а как же) решила «спасти», – и это чуть не стоило ей жизни. Тамара с

огромным трудом и с большими потерями – потому что в страшной спешке – поменяла квартиру, которую они подарили Анне на свадьбу, и теперь Анна жила в другом районе, в другой обстановке, с другими соседями, которые ничего не знали о кошмаре ее замужества, все было другим – кроме оставшегося в ней страха. Тамара знала, что винить себя в этом глупо, но все-таки винила. Вот если бы тогда она не загляделась на странную, неправильную пару, если бы не заслушалась горячим, хриплым, сводящим с ума голосом, – она успела бы выпросить у судьбы милости для своей девочки. Ничего, по крайней мере на этот раз – а Новый год уже скоро, всего месяц ожидания, – она точно знает, что загадать: пусть Анна станет прежней. Пусть даже эта бестолковая щенячья восторженность к ней вернется, только бы исчез этот страх. И скрытность. И недоверие – даже к ней, к родной матери...

Чейз носился по двору, время от времени ныряя в кусты, росшие вокруг детской площадки, подбегал к ней, тявкал негромко, бросался прочь, приглашающе оглядываясь, – что-то он там, в заснеженной песочнице, нашел интересное. Тамаре не хотелось с ним играть, она устала, замерзла и расстроилась от мысли об Анне.

– Чейз, домой, – позвала она негромко. – Пойдем, а то еще простудишься...

Она понимала, что Чейз еще не набегался, и безветренные минус два – это не повод, чтобы запираить бедного пса в четырех стенах, и поэтому почувствовала себя виноватой. Чейз тут же воспользовался ее замешательством: он возмущенно тявкнул, подпрыгнул на месте козлом и помчался куда-то за угол дома, размахивая ушами и расстилая хвост шлейфом. Тамара обреченно вздохнула и потрусилась за ним – избалованный вниманием и лаской пес мог запросто кинуться на грудь какому-нибудь случайному прохожему, а тот мог не понять душевного порыва любвеобильной твари и испугаться – или от страха как-нибудь обидеть Чейза. Ну, так и есть: какой-то человек одиноко торчал под фонарем, а Чейз уже носился вокруг него, временами тормозя, припадая на грудь и по-щенячьи с подвизгом тявкая.

– Не бойтесь! – закричала Тамара издали и побежала к запорошенной снегом фигуре под фонарем. – Не бойтесь, он не кусается! Он очень добрый, просто глупый! Это он вас играть зовет... Чейз, ко мне!

Она была уже рядом, когда человек повернулся, – и она споткнулась, поскользнулась на обледеневшем тротуаре и уже начала падать, когда он подхватил ее, крепко обнял, прижал к себе, почти оторвав от земли, и быстро заговорил хриплым горячим голосом:

– Я знал, что ты выйдешь! Я чувствовал! Я загадал: если дождусь – у нас все получится! Как хорошо, что ты вышла! Какая ты молодец!

– Подожди. – Тамара слабо трепыхнулась в его руках и откинула голову, чтобы видеть лицо этого сумасшедшего. – Ты что, домой не пошел? Ты с тех пор здесь ждешь, да? Как проводил – так тут и стоял?

– Ну да, – подтвердил он. – Тут и стоял. И ходил. И даже бегал немножко – холодно все-таки. Хорошо, что ты вышла. Еще пару часов – и я бы точно замерз.

– Сумасшедший, – сказала она убежденно и от счастья засмеялась. – Жень, ты же заиндевел весь! У тебя даже брови в снегу... Ты совершенно сумасшедший! Тебя срочно лечить надо!

Он распахнул пальто, еще крепче прижал ее к себе, закутав в пальто, будто отгородив от всего мира, и принялся быстро целовать ее лицо, задыхаясь и лихорадочно бормоча:

– Не надо меня лечить... Меня любить надо... Пожалуйста... Малыш, пожалуйста... Конечно, я сумасшедший! Мне это нравится, вот никогда бы не подумал... Ты не знаешь, это не заразно? Я хочу, чтобы и ты сошла с ума...

Гулко, в полный голос, залаял Чейз, и Тамара вздрогнула, возвращаясь в этот мир, с трудом выплывая из горячего тумана его слов, его губ, его рук, пытаясь собраться с мыслями, вспоминая, что нужно сказать что-то важное...

– Сумасшествие заразно, – наконец сказала она, с трудом переводя дух. – Да, очень, очень... Безусловно. Мне пора идти, меня ждут, Наташка, наверное, так и не легла еще... И тебе пора домой – скоро одиннадцать, а ты не дома! Как же так, разве можно?

– Меня-то уж точно не ждут, – с внезапным холодом в голосе сказал он. Помолчал, неохотно выпустил ее из объятий и вздохнул: – Ты иди, а то замерзнешь. Завтра на работе встретимся. Ведь мы встретимся, да? Ты ни в какую командировку не собиралась?

– Нет, завтра не собиралась. – Тамара вспомнила о планах на послезавтра и огорчилась. – Ох, черт, совсем забыла! В среду мне надо уехать, но это на пару дней, не больше. Я постараюсь поскорее вернуться.

– Послезавтра – это хорошо, – непонятно сказал Евгений. – Это потому, что я тебя дождался. Беги, холодно.

Он повернулся и быстро пошел по пустой темной улице, сунув руки в карманы пальто и слегка сутулясь. Он ни разу не оглянулся, и Тамара обрадовалась, что не успела загадать чего-нибудь вроде «если оглянется – все получится». Она не хотела ничего загадывать, не хотела знать будущее, даже не хотела ни о чем мечтать...

Сейчас ей было более чем достаточно вот этого: по пустой улице от нее уходил в общем-то совсем чужой человек, можно сказать, даже почти незнакомый, а сердце ее билось сильно и часто, и хотелось окликнуть этого совсем чужого человека, и хотелось побежать за ним, и хотелось плакать, и хотелось смеяться...

Дома Тамара вымыла Чейзу лапы, заглянула к Наташке – Наташка спала, а настольная лампа горела, Тамара выключила лампу. Заглянула к деду – дед спал, на полу возле постели валялась разорванная надвое газета, свет, конечно, горел, Тамара забрала газету с собой и выключила свет. В кухне тоже горел свет, и чайник был еще теплый – наверное, Николай после ее ухода решил еще чайку перед сном попить, как всегда. Скорее всего, он уже спит. А может быть, и не спит, может быть, ждет ее возвращения – поговорить-то им надо, в конце концов? Как понимала Тамара, поговорить им обязательно надо. Хотя бы потому, что его заявка «у меня семья, мне о семье думать надо» совершенно сбивала ее с толку. Что он имел в виду – что у нее нет семьи? Что она о семье не думает? А что тогда значит думать о семье? Зарабатывала она всегда больше его, продукты, одежду-обувку, мебель, посуду и всякую мелочь в дом добывала тоже она, даже в самые тяжелые, самые кризисные времена ее семья не голодала и не ходила оборванной... А разве Николай хоть что-нибудь для этого сделал? О семье он думать должен... Мыслитель.

Ой, ладно, не надо так, оборвала она себя. Так до чего угодно можно додуматься. В конце концов, она всю жизнь считала, что с мужем ей повезло. И все вокруг так считали. Не алкоголь, не наркоман, не психопат, даже, по большому счету, и не зануда. И конечно, он ей не враг. Значит, они поговорят как друзья.

Тамара не без внутреннего трепета вошла в спальню – и поняла, что сегодня они не поговорят. В спальне было темно, только слабый, отраженный от снега свет втекал в щель между шторами и плавал над ковром ртутным отблеском. В темноте раздавалось мерное, мощное и шумное дыхание – Николай всегда так дышал, когда спал глубоко и спокойно. Разбудить, что ли? Со сна он всегда раздраженный и неразговорчивый, так что все равно разговора не получится. Ладно, пусть спит, потом поговорим. Тамара почувствовала облегчение и тут же упрекнула себя в этом и стала мысленно оправдываться перед собой, опять ни с того ни с сего рассердилась на мирно сопящего Николая, ушла от греха подальше в кухню, машинально закурила и села в уголок кухонного диванчика, подтянув колени к подбородку и туго завернувшись в длинный и широкий махровый халат. Так она и сидела, думая обо всем – и в общем-то ни о чем конкретном не думая, смотрела в стену, закуривала одну сигарету за другой и тут же ломала ее в пепельнице, а потом снова закуривала. Чейз спал на диванчике рядом с ней, прижавшись горячей спиной к ее бедру, спал беззвучно и неподвижно и только шевелил ушами,

когда она щелкала зажигалкой. А потом ему, наверное, что-то приснилось: он заскулил, задергал лапами, сильно толкнул Тамару в бок – и она будто очнулась, глянула на настенные часы: почти четыре. Спать осталось всего ничего, в семь все равно подниматься – так, может, и вовсе не ложиться? Нет, лечь все-таки надо. Спина и ноги так онемели от многочасовой неподвижности, что, если им не дать хоть какого-то отдыха, они ей днем шевелиться не дадут. А работа завтра будет суетная, беготная... Очень напряженный день. Ну и пусть. Зато завтра она опять увидит Евгения.

С этой мыслью – завтра она опять увидит Евгения – она уснула мгновенно, едва коснувшись щекой подушки, и с этой же мыслью проснулась без пятнадцати семь, за минуту до звонка будильника, с таким чувством, что спала сладко и долго, долго-долго, так долго, что успела наверстать привычный недосып многих лет. И все в это утро получалось легко и быстро: за полчаса она успела и завтрак приготовить, и всю семью покормить, и с дедом поговорить, и Натуську собрать в школу, обласкать и ободрить перед какой-то страшной контрольной. Как ни странно, ей не пришло в голову принарядиться самой – или хотя бы ресницы накрасить. Выходя из ванной, она мельком глянула в зеркало и опять поразились: это же надо, какие красавицы бывают на свете! Было совершенно очевидно, что такое немыслимое совершенство не нуждается ни в каком дополнении, более того – дополнения просто принизят это совершенство, низведут его до обыкновенности. К тому же макияж требует времени, а у нее времени не было: надо скорее бежать, потому что Евгений обещал к ней зайти.

Она прибежала на работу на сорок минут раньше и только тогда сообразила, что он-то вряд ли придет так рано. Он-то наверняка имел в виду рабочее время, а до рабочего времени еще ждать и ждать... Она вдруг устыдилась собственной щенячьей восторженности, страшно расстроилась, села в кресло и приготовилась ждать, страдать, мучиться сомнениями, томиться неизвестностью и все такое. Но ничего такого не получилось: через минуту дверь в ее кабинет открылась, и Евгений ликующе заявил с порога:

– А я знал, что ты раньше придеешь!

Его открытое, почти мальчишеское ликование, его победительная уверенность в том, что все происходит именно так, как хочется ему, что все предопределено и все правильно, уже знакомо окутали ее, отгородили от всего мира с его условностями, глупостями, нелепостями и обязанностями. Она засмеялась от радости и сквозь смех сказала:

– Здравствуй! Ты что, караулил меня?

– Ага, – легко соврал он. Было видно, что соврал, он и не скрывал этого, но и эта его откровенная лож казалась ей и правильной, и необходимой. – А что, нельзя? Вдруг бы ты куда-нибудь убежала! И лови тебя потом по всем этажам!

Он не подходил к ней, стоял у двери, болтал что-то легкое, непринужденное, необязательное, но в то же время очень уместное, а она сидела за столом, смотрела на него через всю комнату и счастливо улыбалась во весь рот.

– Съезжаются к ЗАГСу трамваи, – вдруг сказал он, прислушавшись к невнятному шуму где-то там, в другом мире. Потом приоткрыл дверь, выглянул в приемную, опять плотно закрыл дверь и тем же легким непринужденным тоном добавил как бы между прочим: – Я тебя люблю. Ну, мне пора. Попозже еще увидимся.

И вышел, аккуратно придерживая дверь, чтобы не хлопнула, и заговорил с кем-то тем же непринужденным тоном о чем-то необязательном: погода, простуда, да плюньте вы на врачей, малиновое варенье, горчичники – и как рукой...

Рабочий день начинался. День, когда они обязательно увидятся еще раз, а может быть, и не один раз, и он будет говорить всякие глупости, а она будет плыть от счастья, задыхаться от счастья, гложуть от счастья, но обязательно услышит: «Я люблю тебя».

Все так и было. В общем-то нельзя сказать, что она забросила все дела и только и ждала, когда он появится на минутку. Нет, она работала, казалось, как обычно, и готовила нужные

документы, и решала неотложные вопросы, и отвечала на телефонные звонки, и принимала посетителей. И все это привычное, знакомое, ежедневное существовало только затем, чтобы на минутку столкнуть ее с Евгением или в длинном коридоре, или на лестничной площадке, или в кабинете большого начальника, или в столовой... При всех встречах он быстро говорил что-нибудь вроде: «Видишь? Тебе от меня никуда не скрыться». Или: «Признайся – ты меня преследуешь. Нет? Жаль. А я тебя преследую, так и знай». Или: «Как ты думаешь, что тот тип скажет, если я тебя поцелую?» Тамара цепенела от удушающего счастья и оглушающего ужаса, а «тот тип», который был ее непосредственным начальником, подходил и приветливо заговаривал с Евгением:

– Здравствуйте, Евгений Павлович. Вы ко мне? Идемте, я на минутку выходил.

– Да нет, я уже все вопросы выяснил, – безмятежно отвечал Евгений. – Я попозже зайду, сейчас у меня люди назначены.

Выражение лица у него при этом было «Что тот тип скажет, если я тебя поцелую?».

Тамара была уверена, что после работы он опять пойдет провожать ее, но ближе к вечеру Евгений куда-то исчез, и она решила, что это к лучшему. Зачем ждать завтрашнего дня? Можно поехать в командировку и сегодня вечером, в Москве она будет утром, за целый-то день можно решить все вопросы – и уже послезавтра утром она будет дома. Нечего ей делать в этой дурацкой командировке целых два дня. Хорошо умеет работать тот, кто умеет работать быстро. Правда, номер в гостинице уже забронирован, а зачем ей номер в гостинице, если она не собирается там ночевать? Пожалуй, надо бы позвонить и отменить заказ, но это можно сделать и завтра, когда она придет в Москву. А сейчас надо быстренько заказать билет на ближайший поезд, потом – домой, приготовить ужин, накормить свою семью, собраться – и на вокзал. Нет, это даже хорошо, что Евгений не будет сегодня провожать ее домой. Если бы провожал – она наверняка не успела бы сегодня уехать, стало быть, не успела бы обернуться за один день, а значит – не увидела бы его еще два дня. Два дня! Страшно подумать. Ведь неизвестно, что может случиться тут без нее за два дня. Вполне может быть, что ему самому придется куда-нибудь ехать, она приезжает – а он уехал! И тоже не на один день. Такую разлуку не выдержит никакое чувство...

Она бежала домой, всю дорогу посмеиваясь над собой, над своими книжными формулировками, над своими детскими опасениями, над всем этим таким непривычным, таким не ее состоянием, которого она раньше не понимала – и не хотела понимать. И остро тосковала по горячему, чуть хриловатому голосу, по невероятным, сумасшедшим, таким бесстрашным словам. Как быстро и как необратимо этот голос и эти слова стали ей необходимы...

Перенос ее отъезда на сегодняшний вечер вместо запланированного завтрашнего утра никого из домашних не удивил: она часто моталась по командировкам, и бывало, что о необходимости поездки становилось известно лишь за полтора-два часа. Лишь дед посочувствовал, зная, что она плохо спит в поездах:

– Опять не выспишься, доченька. А там – весь день на ногах.

– А, не привыкать, – отмахнулась Тамара. – Зато, может, пораньше отобьюсь... Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы.

Все-таки она была очень суеверной.

– Тебя проводить? – нерешительно спросил Николай. – А то темно уже, и вообще...

– Не надо, – привычно отказалась она. – Идти два шага. И вещей я с собой никаких не беру. С Чейзом не забудь погулять.

– Ладно, – неохотно согласился Николай. – А ты его уже кормила?

Наташка ходила за ней хвостом, хмурилась и шевелила губами, потом решила – выдала на-гора свою заветную мечту:

– Ма, помнишь, ты обещала, что подаришь на Новый год, что я сама выберу?

– Ну? – насторожилась Тамара.

– Я плеер хочу, – виновато сказала Наташка. – В Москве есть, я знаю, Сашке из второго подъезда такой недавно купили.

– А здесь разве нельзя купить? – удивилась Тамара. – По-моему, сейчас везде в магазинах все одинаково – что в Москве, что в деревне Гадюкино.

– Ну ма, ну купи. – Наташка страдальчески округлила глаза и задрала брови. – Здесь нет, я уже узнавала! Надо такой, как у Сашки!

– Откуда ж я знаю, какой у Сашки? – попробовала отвертеться Тамара.

– А я сейчас бумажку принесу! – обрадовалась Наташка, почуяв слабое место в ее обороне. – Я все переписала: и как называется, и какая фирма...

Она умчалась к себе искать бумажку с именем заветной мечты, а Тамара обреченно вздохнула и переглянулась с Николаем: оба они были совершенно бессильны перед несокрушимым напором своей младшенькой, когда та хотела чего-нибудь добиться. Правда, бывало это не так часто, вернее – чрезвычайно редко, может быть, именно поэтому каждый такой случай запоминался родителями навсегда, как запоминается, например, стихийное бедствие. И воспринимался примерно так же: бороться со стихийным бедствием без толку, стало быть, надо его просто пережить. Счастье еще, что Натуське пока не приходило в голову добиваться чего-нибудь грандиозного.

Как всегда в таких случаях, Николай поднял брови и осуждающе поджал губы, а Тамара, как всегда, беспомощно улыбнулась и пожала плечами. Это означало: мама недопустимо балует ребенка, но папа, не одобряя баловства, все-таки не будет перечить – ради мира в семье. Потому что семья – это главное.

Тамара вдруг будто увидела эту сцену со стороны и поразились ее нереальности. Все как всегда, и все не так. Они так и не поговорили. Она не представляла, каким должен быть этот разговор, но считала, что поговорить им обязательно надо. А Николай, похоже, ничего не считал... Или, может быть, он думал, что разговор уже состоялся, все всё для себя выяснили, и... И что?

Наташка вылетела в прихожую, размахивая какой-то бумажкой.

– Вот! – быстро заговорила она, заглядывая в лицо матери гипнотическим взглядом. – Вот, я все записала! Видишь? И наушники чтобы маленькие, а не как лопухи! Ладно?

– Я поищу, – сдержанно сказала Тамара, пряча заветную бумажку в сумку. – Обещать ничего не могу, но я обязательно поищу. Ну ладно, я поехала. Пока, да?

– Пока, – жизнерадостно чирикнула Наташка и ускакала в свою комнату.

– Счастливо, – сказал Николай и закрыл за ней дверь.

Как всегда. Все-таки это было очень странно.

Глава 3

Все получалось так, как задумала Тамара. Все получалось просто отлично! Конечно, денек выдался еще тот, от бесконечной беготни по магазинам Тамара ног под собой не чувала, зато, как и планировала, успела сделать все. Все-все. Все замечательно складывается: через несколько часов – на поезд, завтра утром – дома, и на работу она успевает к девяти. Евгений уже будет ждать ее: он всегда приходит на работу минут на двадцать раньше. Целых двадцать минут он сидит и ждет ее, и волнуется, и думает: это почему же так долго ее нет? И тут приходит она: целуйте меня, я с поезда!.. Э, стоп. Никто завтра не будет ждать ее, потому что никто не знает, что она собирается приехать завтра. У нее еще целый командировочный день, который она может с чистой совестью использовать в мирных целях. Например, приехать утром, а на работу не ходить, позвонить Евгению и... И что? Назначить ему свидание, вот что надо сделать. Настоящее свидание, где-нибудь на бульваре под часами. А перед свиданием сделать прическу, маникюр, макияж... И бежевое платье надеть, оно ей больше всех идет. Хотя при чем тут платье? Под дубленкой какая разница, что надето... Но, с другой стороны, – он же может пригласить ее в кафе. Или даже в ресторан. И тогда бежевое платье очень даже при чем. А обувь? Хороша она будет в парадном платье и зимних сапогах! Значит, надо придумывать другой вариант.

Тамара валялась на твердой гостиничной кровати, неторопливо обдумывая все возможные варианты одежды и обуви к предстоящему – она так надеялась – свиданию, а параллельно думала о том, как правильно она сделала, что не отменила бронь на гостиницу, а то сейчас что бы она делала со своими намученными ногами? До поезда еще почти пять часов, не только как следует отдохнуть можно, но даже и поспать немножко. Предупредить дежурную, чтобы разбудила, – и спокойно поспать. Или все-таки сначала поесть? С утра голодная бегаёт. Буфет на этом этаже работает, надо встать, добрести до него, взять чего-нибудь простенького – и в номер. Но чтобы добрести до буфета, надо обуваться, а вот этого сделать она не в силах. Она поест потом, когда проснется...

Кто-то негромко, но очень настойчиво стучал в дверь, и первое, что подумала Тамара, с трудом выплывая из глубокого, вязкого сна без сновидений, – это то, что дежурная уже давно, наверное, пытается ее разбудить. Как бы не опоздать.

– Сейчас-сейчас-сейчас, – забормотала она, вспоминая, с какой стороны от постели тумбочка с настольной лампой. Нашла, включила свет и стала с трудом сползать с кровати, кряхтя и охая, потому что ноги так и не отошли от сумасшедшей дневной беготни. И спину ломило, как после большой стирки. И глаза не хотели открываться. И горло что-то побаливало. Так, кряхтя и охая, растирая поясницу и жмурясь от сиротского света грошовой лампочки, она доковыляла до двери, повернула ключ и, открывая дверь, заговорила виновато: – Уже поздно, да? Я так крепко уснула, не слышу ничего... Сколько уже времени?

– Много. – Евгений шагнул через порог, захлопнул дверь и повернул ключ в замке. – Времени – вагон. И все – наше.

– Ой, – сказала она беспомощно, отступая, хлопая глазами, машинально приглаживая волосы, одергивая юбку и поправляя блузку. – Откуда ты взялся? Это ты мне снишься, что ли?

– Угу, – подтвердил он не улыбаясь. – Конечно, снюсь. Как ты думаешь, это хороший сон или кошмар?

– Кошмар, – с тихим отчаянием пробормотала Тамара, оглядывая себя и от ужаса поджимая пальцы босых ног. – Я хотела прическу сделать... У меня такое красивое платье есть... И глаза накрасить – мне очень идет, правда. А тут вдруг ты! А я в таком виде! Кошмар... Погоди, не смотри на меня, я сейчас...

Она было шагнула в сторону ванной, но Евгений перехватил ее на полдороге, обнял, уткнулся лицом ей в шею, засмеялся, заговорил, щекоча усами кожу под ухом:

– Могла бы и обрадоваться... А ты сразу – «кошмар»! Может, ты мне тоже все время снишься, но я же не говорю, что это кошмар... Наоборот, очень хорошие сны... Малыш, смотри, что получается: мы друг другу снимся! К чему бы это, а? Ты не умеешь сны толковать?

Пространство накалялось и плавилось от его горячего голоса, от быстрых, бессвязных, скорее всего, как смутно подозревала Тамара, совершенно бессмысленных слов, которые она слышала, но не очень понимала, – но это было не важно, ей не нужно было понимать какие-то слова, когда пространство вокруг плавилось и завязывалось вокруг сердца узлом, и убогий свет от убогой настольной лампы волшебным образом сиял и переливался волнами вокруг нее – вокруг них, – и ничего в мире не осталось, кроме жадных слов Евгения, и его жадных рук, и его жадных глаз, и она зажмурилась от счастья и от страха и, страшно смутившись, попросила:

– Не смотри на меня.

– Хорошо, – бездумно согласился он, но все равно смотрел, сквозь ресницы она видела его горячий взгляд, сумасшедший взгляд, и сама сходила с ума, и даже так и подумала: «Я схожу с ума».

Конечно, она сошла с ума, в этом у нее не было никаких сомнений. Чем еще можно было объяснить, что она забыла обо всем, даже о детях? Она забыла всю свою жизнь, как будто ее и не было, как будто вот только что она появилась из ниоткуда, из тьмы, из пустоты, из пены морской, из желтого света настольной лампы, из незнания, из ожидания – просто форма, готовая сама определить свое содержание. Жизнь начиналась с нуля! Нет, жизнь начиналась с огромной величины, с бесконечности – и уходила в бесконечность, и Тамара с замиранием сердца вдруг ощутила, что это такое – навсегда. Ощутила всем своим существом, душой, сердцем, умом, спинным мозгом и кончиками пальцев. Как она могла не верить, что такое существует? Бедная дуручка, которая рационально планировала жизнь, всю свою убогую, серую, невыносимо скучную жизнь, – бедная, бедная дуручка. Дуракам везет, и ей повезло, ведь она могла бы так и не узнать, что это такое – навсегда, и спокойно жить с мужем, даже не догадываясь, что это такое – почти терять сознание от одного взгляда, от одного слова, от одного прикосновения, она могла бы и дальше считать себя откровенной и открытой – и носить в себе то, в чем даже себе не хотела признаться... Она могла прочитать сто тысяч «Анжелик» и посмотреть миллион сериалов – и так и не понять, что такое страсть.

За такое можно отдать все. Она испугалась этой мысли и устыдилась. А дед, а дети? И потом – ведь совсем недавно она, услышав подобную фразу из уст какой-то придурковатой героини какого-то придурковатого фильма, с безразличным сочувствием подумала: «А что у тебя есть-то, что не жалко отдать?» Придурковатая героиня была одинокой некрасивой неудачницей, которую вечно выгоняли из снимаемых ею убогих каморок, с каких-то случайных работ, с чужих праздников, на которые она попадала по ошибке, даже из бесплатного музея, даже из общественного парка... Ничего удивительного, что эта ходячая катастрофа готова была отдать все эти прелести за великую любовь случайно встреченного миллионера – рост: метр девяносто пять, возраст: тридцать три, гражданство: США, цвет глаз: очень зеленые, особые приметы: нефть, газ, алмазы и компьютеры. Удивительно то, что этот уникальный экземпляр готов был отдать все за любовь этой ходячей катастрофы. Цены казались Тамаре несоизмеримыми.

Раньше. Раньше казались. Сейчас она поняла эту банальную фразу – «отдать все», и поверила в нее, и примерила на себя, и увидела, что она ей почти впору. Почти. Дед и девочки в эту цену не входили.

– Дети только мешают, – говорила мать. Ее биологическая мать, которую Тамара никогда не видела. Мать была молодая, красивая, веселая и говорила веселым красивым голосом: – Дети сами вырастают, подумаешь, большое дело! Ты же выросла...

Тамара хотела что-то сказать, но голоса не было, и дыхания не было, черная пелена ярости застилала сознание, а руки так тряслись, что она с трудом удерживала большой черный пистолет.

– Слушай ее больше, – ворчливо сказала бабушка, отобрала у Тамары пистолет и сунула его в карман своего клетчатого фартука. – Вечно ты так: услышишь какую-то дурь, а потом реवेशь.

К Тамаре вернулось дыхание и способность думать, но сердце все еще бешено колотилось, и слезы безостановочно текли из глаз.

– Ты что, малыш? – Евгений крепко обнимал ее, и гладил по голове, и быстро целовал ее мокрое похолодевшее лицо. – Малыш, эй, просыпайся! Ты почему плачешь? Приснилось что-нибудь? Какой-нибудь кошмар вроде меня, да?

Тамара с трудом разлепила глаза, попыталась закрыть лицо руками, но он не дал ей этого сделать, гладил ее холодные щеки горячими ладонями, всматривался в ее глаза тревожным взглядом, бормотал успокаивающе:

– Ну все, ну успокойся, ну что такое... Что тебе приснилось? Гадость какая-нибудь?

– Да, – с трудом сказала она. – Мать.

– Что? – растерялся он. И даже отодвинулся, и даже из рук ее выпустил. – Не понимаю... Может быть, расскажешь?

Об этом она никогда никому не рассказывала. Ни лучшим подругам, ни мужу, ни, тем более, детям. А бабушка и дед и так все знали лучше ее. И никогда с ней об этом не говорили. Тамара не помнила, откуда она сама узнала, – наверное, общая картина сложилась из случайно услышанных слов жалостливых воспитательниц и нянечек, врачей и медсестер, учителей и соседей... Бабушка и дедушка ей ничего специально не рассказывали, пока она была маленькая. Бабушку и дедушку она всегда называла мамой и папой, и всю жизнь считала их своими настоящими родителями, и не стала считать по-другому, когда наконец узнала правду.

Ее родная мать – ее биологическая мать – была дочерью ее бабушки, а дед вообще был чужим человеком. Дед был просто вторым мужем бабушки, так что, можно считать, никакого отношения к Тамаре не имел. Вот странно: дед – чужой человек! Роднее этого чужого человека у Тамары никого в жизни не было. Не считая девочек, конечно, но девочки – это совершенно другое дело, это ее дети, она сама их родила, она не была ничем им обязана, наоборот – они были обязаны ей жизнью и полностью зависели от нее. А она сама целиком и полностью зависела от деда. Не в том смысле, что он ее кормил-поил и обувал-одевал, хотя и это, конечно, тоже... Зависимость была какой-то другой, не бытовой, что ли... Какой-то глубокой, не объяснимой словами, не определяющейся никакими причинами и обстоятельствами, просто данной раз и навсегда, как закон природы.

Дед с бабушкой много лет ничего не знали о Тамариной матери, потому что та еще с юности ушла из семьи, объявив, что родители ей мешают жить. Как она жила без родителей – этого так никто точно и не знал: ее носило по всей стране, писем она не писала, звонить не звонила, и все попытки отыскать ее через общих знакомых закончились тем, что кто-то сказал, что вроде бы слышал, что она родила ребенка, отказалась от него прямо в роддоме и опять куда-то уехала. Когда это было, в каком роддоме, в каком городе, – этого тоже никто не знал. Дед и бабушка долго искали Тамару и нашли чудом. Она была маленькая – гораздо меньше, чем положено в ее возрасте, – слабенькая и очень больная. Не просто болезненная, а по-настоящему больная. Врачи честно предупредили бабушку и деда: девочка умирает. Ничего сделать нельзя, все уже перепробовали... Лучше оставить ее в больнице.

Это именно дед, в общем-то чужой человек, просто второй муж ее бабушки, настоял на том, чтобы ребенка отдали. Если ей суждено умереть, если все равно нет никакой надежды, – пусть девочка последние в жизни дни проведет в своем доме, в своей семье, со своими игрушками, в своей новой пижамке, на руках у своих родных. Ведь у нее ничего этого не было, она

не знала, что это такое, а этого не должно быть, чтобы ребенок так и не узнал, что он чей-то, что он кому-то нужен, что его любят, что он не один среди совсем чужих людей в этом мире.

Дед первый взял ее на руки – и, кажется, больше никогда не отпускал. Во всяком случае, у Тамары на всю жизнь осталось убеждение, что семья – это большие теплые руки деда, его удобные теплые колени, его широкая теплая грудь, в которой прямо возле ее уха сильно стучит теплое сердце. И теплый голос над ее головой:

– Пусть попробует, Насть... Ну и что ж, что нельзя... Ей ничего нельзя! Смотри, как просит, – даже ручки дрожат.

И пупырчатый соленый огурец, зажатый в ее тощих синеватых пальцах, и головокружительный запах, и пронзительный вкус – ничего подобного она никогда раньше не пробовала. И такая же пронзительная радость не столько от того, что уже есть, сколько от предвкушения того, что будет. Именно тогда, жадно впиваясь слабыми зубками в кисло-соленый хрустящий огурец, захлебываясь пьянящим запахом каких-то трав и дубовой бочки, она впервые почувствовала, что что-то будет и завтра, и потом, и всегда.

Она уснула у деда на руках, так и сжимая в тощих синеватых пальцах недоеденный соленый огурец. Уснула внезапно и так глубоко, что бабушка с дедом испугались, думали, что все, конец, предсказанный врачами. А она просто спала, глубоко и спокойно, и ничего не слышала: ни как приезжала «скорая», ни как ее выслушивали и выстукивали, и делали укол, и осторожно поили из ложечки теплым молоком, и переодевали в свежую пижамку, и перестилали постель. Это потом, через много лет, ей все подробно рассказали, удивляясь и радуясь. А тогда она просто спала – почти четверо суток, ничего не видя, не слыша и не чувствуя, кроме глубочайшего покоя и ощущения безопасности. Так с ней и осталось на всю жизнь: семья – это покой и безопасность. Защищенность. Надежность. Смысл жизни. Возможность будущего.

Она проснулась совсем здоровой. Слабенькой, но совсем, совсем здоровой. Врачи откровенно удивлялись, бабушка потихоньку плакала от счастья, дед бешено, размашисто, громогласно радовался. Она всю жизнь помнила дрожащую улыбку на мокром от слез лице бабушки и дедушкин смех, и его сильные руки, и сильный стук его сердца прямо возле ее уха...

О родной матери – о биологической матери, иначе она ее не называла, – Тамара никогда не думала. По крайней мере, ей казалось, что она не думает. У нее были мама и папа, у нее была настоящая семья, своя семья, да еще такая, о какой многие и не мечтают! У нее была лучшая в мире семья, зачем думать о какой-то биологической матери? Незачем.

И вот теперь она приснилась. Может быть, приснилась вовсе и не она – ведь Тамара никогда не видела свою биологическую мать. Приснилась просто какая-то сволочь, которая говорила подлые гадости, и правильно бабушка сказала: нечего всякую дурь слушать, а потом реветь...

– Конечно, нечего всякую дурь слушать, – уверенно сказал Евгений над ее макушкой. Он держал ее на коленях, как маленькую, крепко обнимал и даже слегка укачивал. – А уж реветь и вовсе глупо. Мало ли, что может присниться! Мне, например, все время планерки снятся, совещания всякие, но я же не реву! Малыш, ты есть хочешь? Я ужасно хочу. Наверное, все закрыто еще – рано... У меня в номере кое-что есть. Хлеб, сыр, колбаса... Ты салями любишь? Соленые огурчики есть, немножко, штуки три осталось. Две бутылки пива. Пирожные есть, миндальные, я вчера в буфете целую коробку купил! Страшно вкусные!

– С пивом их, что ли, есть? – силло спросила Тамара, высвобождаясь из его объятий и не слишком элегантно слезая с его колен, отводя глаза и пряча от него зареванное лицо. Ох и видок у нее, наверное... – Или, может, с солеными огурцами?

Ей было безумно неловко. Вот зачем, зачем, зачем она все ему рассказала? Даже о карамельках «Клубника со сливками» на новогоднем столе, даже о маленьком зеркальце над мойкой, даже о бабушкином фартуке, даже о своем вечном вранье деду о взятках, которые она якобы берет виноградом «дамские пальчики» и сыром с во-о-от такими дырками... И уж

совсем нельзя было говорить о безумном замужестве Анны, и тем более – о теперешнем ее состоянии. Это только ее, Тамарины, проблемы, это никому не может быть интересно, это может только оттолкнуть, потому что люди всегда инстинктивно сторонятся тех, у кого что-то не так... Беда заразительна, неудачники приносят неудачи и другим, неприятности имеют свойство переползать на тех, кто совершенно ни при чем, просто оказался рядом... Ну вот зачем она все это рассказала?!

Тамара, пряча лицо, суетливо и неловко завернулась в простыню, торопливо потопала в ванную, задевая по пути мебель и чувствуя, как чугушной усталостью наливаются ноги и вновь начинает болеть спина. Надо же, а ведь с момента появления Евгения она ни разу не вспомнила, что у нее болят ноги и спина. Господи, ну зачем она ему все рассказала! Сейчас он уйдет, и правильно сделает, так ей и надо...

Она, не оглядываясь, захлопнула за собой дверь ванной и с отвращением уставилась в зеркало над раковиной. М-да-а... Интересно, почему еще вчера у нее дух захватывало от восторга, когда она смотрелась в зеркало?

– Эй, – послышался из-за двери голос Евгения. – Эй, малыш, не закрывайся, ладно? Сейчас я за едой схожу – и к тебе нырну. Слышишь?

Тамара чертыхнулась вполголоса и в панике стала неумело защелкивать хитрый замок, зачем-то приделанный к обыкновенной двери в ванную. Замок не защелкивался, и она опять чертыхнулась. И кому это пришлось в голову прилепить здесь такой хитрый замок? Или предполагалось, что обыкновенная щеколда не вписывается в количество звезд этой гостиницы?

Она услышала, как Евгений засмеялся, что-то бормотнул веселым голосом, потом – едва слышно – звук шагов. Потом хлопнула вторая дверь, потом все стихло.

А потом она побила все рекорды умывания, одевания и причесывания. Его не было, наверное, не дольше минуты, но когда он вошел с какими-то пакетами и свертками в руках, она уже успела и кровать застелить, туго заправив покрывало под все углы, и пепельницу вымыть, и расставить на тумбочке в строгом казенном порядке кувшин с водой, два стакана, телефон и настольную лампу, и теперь торопливо кидала в дорожную сумку свои вещички. Когда вошел Евгений, она выпрямилась, обернулась к нему и напряженно замерла, опустив руки и испуганно тараща глаза. Он на секунду замер, изумленно глядя в ее неподвижное лицо, потом хмыкнул, свалил свои свертки и пакеты на столик под зеркалом в крошечной прихожей и пошел к ней, шлепая по паркету босыми ногами. Надо же, удивилась Тамара, он в таком виде по гостинице ходит – босиком! И рубашка у него была растегнута почти до пупа, и рукава до локтей закатаны... Почему это ее так удивляет, она додумать не успела. Евгений подошел к ней вплотную, осторожно взял в ладони ее лицо и строго сказал, пряча улыбку в усы.

– Вольно.

Она неожиданно для себя засмеялась, и он засмеялся, и подхватил ее на руки, и закружился по комнате, бормоча, бормоча над ее ухом какие-то глупости о салями и миндальных пирожных, и как-то вдруг все стало просто, правильно и спокойно. Совершенно не понятно, с чего это она надумала так психовать. Ну, рассказала и рассказала... Подумаешь, тайны мадридского двора! Почему она думала, что об этом никто не должен знать? О том, что ее бросила родная мать – ее биологическая мать, не больше, – что она всю жизнь носила это в себе, и винила за это себя, и ненавидела родную мать – да биологическую же мать, конечно! Все это глупости, мелочи все это. У нее были лучшие в мире родители – бабушка и дедушка, она всю жизнь звала их мамой и папой, они всю жизнь любили ее, и хвалили ее, и баловали ее, и гордились ею, и с ними она никогда не чувствовала себя чужой, ничьей, брошенной и ненужной. А сны – что сны? Она просто никогда больше не будет видеть таких снов, вот и все.

Они ели необыкновенной твердости салями с подсохшим хлебом и запивали все это горьким пивом из маленьких темных бутылок очень импортного вида, потом пили кипяченую воду из гостиничного кувшина и закусывали миндальными пирожными, а потом вспомнили про

сыр и соленые огурцы, а после сыра и соленых огурцов опять, конечно, пришлось пить воду, а без пирожных пить воду было неинтересно, так что пирожные опять пришлось есть. И все это казалось им невыносимо смешным, они все время хохотали, и что-то рассказывали друг другу о своих гастрономических пристрастиях, и опять хохотали, потому что как же можно всерьез относиться к человеку, который заявляет, что любит манную кашу!

– А вот люблю! – настаивал Евгений, жестикулируя почти пустой пивной бутылкой. – И чтобы не на цельном молоке, а водичкой развести, водичкой... Подсолить как следует, а сахару совсем не надо. И варить такую жиденькую-жиденькую...

– И наливать в бутылочку, – подсказывала Тамара сквозь смех. – А на бутылочку сосочку! А? Ой, не могу!

Он вскакивал, хватал ее в охапку, кружил по комнате и свирепо рычал:

– А ты вообще сухари любишь! И ведь не постеснялась признаться! С кем я связался, а?!

Вот такой у них получился завтрак, а после завтрака они вдруг поняли, что страшно проголодались, и стали придумывать, куда они пойдут обедать и что закажут на первое, второе и третье.

– Первого-второго-третьего нет! – кричал Евгений из ванной сквозь шум воды. – Бывают горячие блюда, холодные блюда и десерт! И закуски!

– Я не хочу горячих! – кричала Тамара, одеваясь и причесываясь перед зеркалом в крошечной прихожей. – Холодных я тоже не хочу! Я хочу чего-нибудь тепленького! Например, горохового супчика и биточки с макаронами! А потом – чаю с сухариком!

Евгений в ванной хохотал и фыркал под душем, а потом вышел оттуда весь такой свежесбритый, гладкий и душистый, внимательно оглядел ее, поулыбался в усы и предложил:

– А давай в китайский кабак сходим, а? Я там один раз был. Мне понравилось.

Китайский кабак Тамаре не понравился. То есть кое-что понравилось – например, многометровая лапша в каком-то незнакомом соусе, очень остром и пахучем. И блинчики были такие интересные: каждый сложен маленьким конвертиком, а внутри – неожиданная начинка из чего-то похожего на фруктовое желе. Только фрукт, из которого это желе сделали, Тамара так и не смогла определить. Может, это вовсе и не фрукт был, кто их знает, этих китайцев. Впрочем, никаких китайцев в этом китайском ресторанчике не наблюдалось. Зато наблюдался народ вполне отечественного разлива – все как один в малиновых пиджаках и в пудровых перстнях. Рядом с малиновыми пиджаками кушали лапшу стопудовые тетки в кофточках, вышитых стразами. Евгений заметил, как она смотрит на пиджаки и стразы, и сказал, пряча улыбку в усы:

– Не удивляйся, это не влюбленные пары, это деловые партнеры. Бизнесмены и бизнесвумены. Скорее всего, сделки какие-нибудь обговаривают за обедом. Вот вечером сюда совсем других девочек приведут. Хочешь сюда вечером прийти? Интересно же, да?

Ничего интересного для нее здесь не было. Тамара краем глаза заглянула в счет, который официант принес на красивой плоской тарелочке, и тут же почувствовала, как все бесконечные метры китайской лапши стали скручиваться в тугий узел в ее желудке. И блинчики с неизвестной науке начинкой она, скорее всего, никогда в жизни больше в рот не возьмет. К тому же в своем деловом костюмчике Тамара и днем-то чувствовала себя неловко посреди этих пиджаков и стразов, а уж вечером, когда сюда приведут «совсем других девочек»... Нет, ну его, этот китайский кабак, только настроение испортилось.

– Поедем отсюда скорее, – сказала она, невольно ежась под взглядом какого-то малиновопиджачного бизнесмена с откровенно бандитской рожей. – Не хочу я сюда вечером идти. И вообще, вечером уже на поезд надо. Я еще вчера уехать хотела.

Евгений ничего не ответил, только посмотрел на нее как-то странно – с удивлением, что ли? И что тут удивительного, если китайский кабак ей не понравился? Не понятно, что ли: чужая она здесь. Лишняя. Как чертополох посреди роз. Среди жирных, самодовольных, гигантских парниковых роз, пахнущих духами «Опиум».

Они шли по улице, и у Тамары почему-то все больше и больше портилось настроение. И ноги в тесных сапогах опять заныли. Евгений искоса поглядывал на нее, улыбался в усы, молчал, и это ей тоже не нравилось. Что в ней такого смешного?

– Куда мы идем? – наконец не выдержала она. – Наверное, собираться пора. И билеты купить надо. А я еще по магазинам хотела – плеер Наташке обещала. Времени у нас мало осталось.

– Времени у нас – вагон, – помолчав, сказал Евгений и вздохнул. – Я билеты уже взял... на завтра.

Она не сразу поняла, что это значит, а когда поняла, что это значит, почему-то страшно обиделась.

– И когда ты их взял? – Тамара остановилась, задрала голову и настороженно уставилась в его лицо. Его лицо было чрезвычайно самодовольным, но глаза все-таки слегка убегали в сторону.

– Ну... еще перед отъездом, – признался Евгений и вдруг заметно смутился. – Малыш, ты не подумай чего, я ничего не планировал, я просто надеялся... то есть я подумал, что мы встретимся... просто так, в театр сходим, что ли...

– В цирк, – буркнула Тамара, отвернувшись и пошла, остро ощущая свое одиночество. Черт, как сапоги жмут.

Евгений догнал ее, взял за руку, пошел рядом, заглядывая сбоку в лицо, заговорил виноватым голосом:

– Ну чего ты рассердилась? Как маленькая, ей-богу... Я же как лучше хотел!

– Я не рассердилась, – сказала она скучно. – Я устала. Ноги болят. И спина. И плеер Наташке я не купила.

– Правильно! – подхватил он с готовностью. – Тебе просто отдохнуть надо! Сейчас в гостиницу – и спать, спать, спать... Ты поспишь, а я пока поброжу, мне еще кое-что сделать надо. Поехали?

– Поехали, – вяло согласилась Тамара. Ей самой больше всего хотелось в гостиницу – и спать, спать, спать... Но он опять все решил за нее, и это было обидно.

Так она и обижалась молчком до самого своего номера, с некоторым сарказмом, удивившим ее саму, наблюдая за Евгением, который с подчеркнутой заботой хлопотал вокруг: раздевал и разувал, растирал ее нестерпимо болевшие ступни, готовил ванну, приволок из буфета большой фаянсовый чайник с вкусно заваренным чаем, распечатал пачку печенья, снял покрывало с кровати, взбил подушку... Дождался, когда она выйдет из ванной, слабая и полусонная, уложил ее в постель, задернул шторы – и ушел. И закрыл ее в номере.

– Ну, это уж вообще, – пробормотала Тамара, услышав, как поворачивается ключ в замке. – Это просто возмутительно, вот что...

Но возмутиться как следует она уже не смогла – сон обрушился на нее мягким белым сугробом, только не холодным, а теплым, душистым, свежим. Ей, кажется, ничего не снилось, кроме самого этого сна – чего-то белого, мягкого, теплого и душистого: света нет, но не темно, много каких-то разных звуков, но тишина, и острое чувство времени, и полная, идеальная безмятежность – да наплевать на время, оно мне неинтересно, я никуда не спешу, и проснусь я тогда, когда захочется, а не за пять секунд до будильника.

Она проснулась за пять секунд до того, как в замке осторожно заворочался ключ, и за эти пять секунд между сном и ключом успела много чего передумать о своей жизни, много чего вспомнить и проанализировать, и даже, кажется, какие-то планы на будущее прикинуть... Но тут ключ в замке заворочался, щелкнул, дверь стала потихоньку открываться – и Тамара моментально забыла, о чем думала. О чем тут думать, в самом-то деле? Евгений сказал, что любит ее... Вот пусть сам теперь и думает, как и что...

Ей понравилась ее логика, она даже засмеялась вслух.

– Проснулась? – радостно спросил Евгений от двери. – А я тут шуметь боюсь... Ох, черт!

В темноте что-то грохнуло, что-то с деревянным стуком упало, что-то мелко рассыпалось по полу и даже вроде бы разбилось. Тамара опять засмеялась: шуметь он боится! А что бывает, когда он не боится шуметь?

– Я свет включу, ладно? – Евгений пробрался в комнату и теперь маячил перед ней в темноте неясным силуэтом. – Ты зажмурься пока... Сейчас я все там соберу. Вот, черт, наверное, поломалось что-нибудь.

Ничего там не поломалось. Чему там было ломаться? В пакетах и коробках, которые он приволок, были: большой стеганый халат с вышитыми широкими отворотами, плюшевые домашние тапочки, толстые шерстяные носки, кожаные рукавицы на меху и хорошие зимние сапоги на низком каблуке. Очень хорошие сапоги, стильные и дорогие. Осенью она перед этими сапогами стояла, наверное, целый час, а потом купила другие – те, в которых мучается второй месяц. Зато те, в которых она мучается, были почти в три раза дешевле.

Она сидела в постели и растерянно смотрела, как Евгений носит из прихожей эти пакеты и коробки и вываливает содержимое ей на колени, а потом пошли мелкие пакетики, и он стал складывать их на тумбочку, а когда тумбочки не хватило – то в кресло.

– Ничего не разбилось, – приговаривал он, собирая с полу в прихожей и сваливая в кресло какие-то пакетики, коробочки, баночки, бутылочки. – Кажется, пирожные немножко помялись. Но это ничего, они хорошо завернуты, мы их и мятые съедим. Съедим, да?

Тамара сидела и молча таращилась на этот филиал оптовой базы, и Евгений наконец заметил ее молчание, остановился посреди комнаты и обиженно сказал:

– Малыш, ты бы хоть примерила, что ли... Или тебе совсем ничего не нравится? А я так старался, выбирал-выбирал, выбирал-выбирал...

– А... э-э... нет, нравится. – Тамара неуверенно потрогала пальцем сдержанно сияющее великолепие немислимо дорогих сапог, покашляла и испуганно спросила: – Это мне, что ли?

– А кому? Мне, что ли? – передразнил ее Евгений. – Эй, ты чего? Малыш, что с тобой?

– Ничего, – с трудом сказала она. – А откуда ты размер знаешь?

– А я стельку из твоего сапога вынул и в магазине по ней мерил, – заметно гордясь собой, признался он. – Это я правильно сделал?

– Мои сапоги мне маловаты. – Кажется, она говорила совсем не то, что надо, а что надо говорить в таких случаях – она совсем не знала.

– Ну да, я заметил. – Теперь он уже не скрывал гордости. – У тебя ноги болят. Я сначала по стельке померил, а потом на размер больше попросил. Я молодец, да? Согласись: я молодец!

– Да, ты молодец, – согласилась она и заплакала.

– Здравствуйте. – Евгений смотрел на нее растерянно и испуганно. – Вот этого я уже совсем не понимаю. Ну что такое, в самом деле? Может, я тебя обидел чем-нибудь? Что ты все время реवेशь? Объяснила бы хоть, а?

Ну что она могла объяснить? Ей было ужасно стыдно, что она все время ревет, да еще при нем. Всю жизнь она твердо знала, что ни в коем случае нельзя плакать при ком-нибудь. Впрочем, она и без свидетелей плакала редко, она вообще не была плаксой, а уж если плакала, значит, причина была серьезная. Настоящая причина, а не какой-то вздор типа сентиментальных переживаний по поводу неожиданных подарков. Наверное, потому, что она никогда в жизни не получала этих самых неожиданных подарков. Она всегда знала, что бабушка и дедушка на день рождения и на Новый год обязательно ей что-нибудь подарят. Муж дарил ей цветы и духи – тоже на день рождения и на Новый год. Ну, еще Восьмого марта, если не забывал. Девочки тоже делали ей подарки – их этому бабушка с дедом научили. Но чтобы вот так – ни с того ни с сего, без всяких праздников... Да еще такую кучу сразу. Да еще все такое дорогое! Да и не только в этом дело. Может быть, дело в том, что ни разу в жизни Николай не утащил стельку из ее старого сапога, чтобы выбрать ей новые. Покупка обуви, одежды, еще чего-нибудь для нее

– все это заранее обсуждалось, обговаривалось, выкраивалось из семейного бюджета и было ее заботой. Без обсуждений Тамара покупала только вещи для мужа и девочек, но они тоже как бы не считались подарками.

– Извини, – сказала она сухо и с силой вытерла лицо концом пододеяльника. – Мне ужасно неловко. Я не привыкла к таким подаркам и теперь не знаю, как нужно себя вести. Как благодарить...

– С ума сойти, – выдохнул Евгений беспомощно, небрежно отодвинул кучу вещей, наваленных поверх покрывала, сел на край кровати и осторожно взял ее за руку. – Малыш, я правда не понимаю, чего ты злишься. Ну, не нравится тебе – и черт с ним, оставишь все здесь, уборщица за тебя свечку поставит. Но сейчас тебе что-то надевать надо, правда? Ты же в одном костюме приехала – ну, понятно, на один день... Но раз уж так получилось, что не на один день... Эй, не злись, что ты сразу кулаки сжимаешь! Я просто подумал, что не надо тебе здесь босиком ходить – пол холодный все-таки. В тапках ведь удобнее, правда? И в халате дома удобнее, чем в пиджаке. Или ты не любишь халаты? Может, ты спортивные костюмы любишь? Извини, я же не знаю... А сапоги – потому что ты ноги намучила уже не знаю как. Ведь нельзя же так! Я хотел, чтобы мы погуляли немножко, просто по улицам побродили, я тут такие уголки знаю, тебе бы понравилось. А в твоих сапогах много ли походишь? Если эти велики – тогда на носок. Смотри, какие носки толстые! Тепло будет.

Он заглядывал ей в лицо, перебирал ее пальцы, лицо у него было растерянное: он совершенно ничего не понимал.

– Ты совершенно ничего не понимаешь, – сказала Тамара и тяжело вздохнула. – Ты не должен мне ничего дарить. Это неправильно.

– Да я пока ничего и не дарил, – искренне удивился он. – Это же не подарки, а так, вещи. Самое необходимое в данный момент. Чтобы жить удобнее. Чтобы ты не маялась и не мерзла. Простудишься еще...

– И заботиться ты обо мне не должен, – перебила она торопливо. – Ну, я не знаю, как тебе объяснить. Я не маленькая, и не беспомощная, и не больная, и ты...

Она чуть не сказала «и ты мне чужой», но в последний момент прикусила язык: какой же он чужой? Она неловко замолчала.

– Ну? – суховато спросил Евгений и выпустил ее руку. – Ну, что ты еще собиралась сказать? Что я тебе чужой, да?

Она молчала, глядя на него растерянно и виновато, и он молчал, хмурился, разглядывал свои руки, лежащие на коленях, потом решительно встал и стал ходить из угла в угол, что-то все время передвигая, переставляя, перекладывая с места на место. В общем, делом занялся. А между делом говорил нейтральным тоном, не глядя на нее:

– Я тут всякого понемножечку принес. Ты ведь не хочешь в ресторан, я правильно понял? Значит, дома поедим, а потом погуляем, рано еще, кажется, даже семи нет... Да, без двадцати семь. Или сначала погуляем, а потом поужинаем. Ты не против?

– Да, – неуверенно сказала Тамара, глядя, как он расхаживает по номеру. – Нет, я не против.

– И ты наденешь эти чертовы сапоги, потому что в своих ходить не сможешь, – тем же тоном продолжал Евгений. Потом остановился, уставился ей в лицо сердитым и отчаянным взглядом и решительно произнес: – И не смей считать меня чужим! Мы никогда не будем чужими! Понятно?

– Ага. – Она почувствовала, как по ее лицу сама собой расползается дурацкая счастливая улыбка, и храбро призналась: – А я боялась, что это я чужая. Ну, что ты про меня так думаешь.

Он шагнул ближе, навис над ней, хмурясь, сжимая и разжимая кулаки, сверкая глазами и шевеля усами, наконец шумно выдохнул и угрожающе начал:

– Я сейчас скажу, что я о тебе думаю! Ох, как я сейчас скажу, что я о тебе думаю...

Тамара пискнула, скатилась с кровати и попыталась удрать в ванную, но он перехватил ее, поднял на руки и закружился по комнате, слегка подбрасывая ее и грозно рыча ей в ухо:

– Ух, ты бы знала, что я о тебе думаю...

У нее уже знакомо закружилась голова, дыхание перехватило, сердце застучало, как бешеное, и, совершенно не соображая, что говорит, она забормотала беспомощно и смущенно:

– А как же гулять? Ты же хотел гулять... А мне надо плеер Наташке... Отпусти меня!

Он неожиданно остановился, поставил ее на пол, разжал руки и отошел. Тамара испытала мгновенный всплеск острого разочарования – с какой это стати он вдруг ее послушался? – осторожно приоткрыла глаза и поискала его взглядом. Евгений стоял над креслом, в которое свалил все мелкие пакетики и коробочки, растерянно смотрел на эту кучу и скреб пятерней в затылке.

– Куда же я его дел-то, а? Ведь сразу теперь не найду, – задумчиво приговаривал он, впрочем даже и не пытаясь что-нибудь искать в этой куче. – А ведь я приносил. Не мог же я его в магазине забыть, правда?

– Правда, – согласилась Тамара. – А чего ты не мог забыть-то?

– А ничего я не мог забыть, – гордо сказал он, все так же растерянно глядя на заваленное коробками и пакетами кресло. – Я вообще не забывчивый... Вот ты, например, помнишь, что твоя Натуськинс просила?

– Натуська, – машинально поправила его Тамара. – Мы ее вообще-то по-всякому зовем, но чаще всего – Натуськой.

– Тем более! – назидательно сказал Евгений, оторвал руку от затылка и помахал в воздухе указательным пальцем. – Тем более, если Натуська! Тогда совершенно точно: я его забыть никак не мог. Следовательно, принес. Тебе понятна логика моих рассуждений?

– А как же, – важно подтвердила она, изо всех сил стараясь не засмеяться. – Логика твоих рассуждений мне совершенно понятна: если Натуська – тогда ты его забыть никак не мог.

Господи, как же ей нравилась логика его рассуждений! Эта его бестолковая трепотня, и многозначительно поднятый к потолку палец, и растерянное лицо, и хитрые глаза, и усы, из-за которых никогда не поймешь, улыбается он или нет... Ей нравилось в нем абсолютно все. А то, что он принимает решения, предварительно не поинтересовавшись ее мнением, – так это от его многолетней привычки командовать подчиненными. Или от ее многолетней непривычки к тому, чтобы за нее кто-то что-то решал. В конце концов, большинство женщин, наверное, безумно радовались бы возможности спихнуть на кого-то решение хотя бы некоторых проблем. Особенно бытовых. А уж о крупных проблемах и говорить нечего! Вот что было бы, если бы Евгений предоставил ей самой решать, как развиваться их отношениям? А ничего не было бы. Она волновалась бы по поводу сочетания нарядного платья и зимних сапог, не спала бы ночей, думая, красить ли ресницы завтра утром, умирала бы от отчаяния, не встретив его днем где-нибудь на этаже, а может быть, когда-нибудь набралась бы такой невиданной смелости, что подкараулила бы его вечером после работы, чтобы пройти вместе двадцать метров до перекрестка: ей – направо, ему – налево. Вот что было бы. А скорее всего, не было бы и этого. Скорее всего, нырнула бы она в густую тень, спряталась бы под ковром, зажмурилась бы, заткнула уши и стиснула зубы, чтобы, не дай бог, нечаянно как бы не обнаружить своего существования в этом мире, и там, под ковром, переждала бы, пережила, переболела, а потом выползла бы наружу, и никто ничего не заметил бы. Потому что и замечать было бы нечего. А через какое-то время она и сама поверила бы: нечего было замечать, потому что ничего и не было... Нет уж, пусть лучше он решает – и за себя, и за нее, и за них обоих. Значит, и эта его черта ей нравится.

– Ты чего смеешься, а? – Евгений стоял над ней, грозно шевеля бровями, и топорщил усы. – Ты надо мной смеешься? Зря смеешься. Если я сказал, что принес, значит, принес!

Она и не думала смеяться, она просто тихо радовалась про себя, может быть, даже улыбалась, наблюдая его хождение из угла в угол и слушая его невнятную, ни к чему не обязывающую и такую забавную болтовню. Но тут не выдержала, рассмеялась громко, закричала сквозь смех:

– Да что принес-то?

– А вот что! – торжествуя произнес он, выхватывая из вороха вещей, сваленных на кровати, какую-то коробку и размахивая этой коробкой у нее перед носом. – И попробуй только сказать, что я не имею права! Это вообще не тебе, а Натуськинсу!

– Натуське, – поправила она, перестала смеяться и села на кровать. – А Натуська тут при чем?

Евгений бросил коробку ей на колени, присел рядом с ней, потер лицо ладонями и протяжно вздохнул.

– Малыш, что-то мне с тобой как-то трудно, – после минутного молчания заговорил он виноватым голосом, хмурясь и глядя в сторону. – Кажется, ты чего-то не понимаешь... Или это я не понимаю? Так ты объясни! А то ведь я не знаю, что и делать. Разве так можно жить? Так жить нельзя.

– Ты о чем? – Тамара вдруг почувствовала, как сильно и больно забилося сердце, и мгновенно пересох рот, и руки стали холодными и непослушными. – Почему тебе трудно? Как нельзя жить? Я правда не понимаю...

Евгений опять долго молчал, вздыхал, отводил глаза и шевелил усами.

– Ты все время сопротивляешься, – наконец заключил он недовольно. – Ну, в чем дело-то? Ну, хочется мне, чтобы ты в халате походила, – трудно тебе, что ли?.. И ножки чтобы не мучила... И съела чего-нибудь вкусенького... А плеер Натуськинсу – это ведь не тебе подарок. И даже не ей. Это вообще-то мне подарок. Чтобы время зря не тратить. Чтобы все твоё время – только для меня. Понимаешь?

– Как я испугалась, – с трудом сказала она, закрыла глаза, перевела дыхание и почувствовала, как горячая волна облегчения смывает липкий холодный страх. – Как я испугалась, ты бы знал... Я подумала...

Она спохватилась, замолчала на полуслове... Евгений вдруг сильно толкнул ее, опрокинул на подушку, сжал ее плечи и близко наклонился, внимательно вглядываясь в ее лицо.

– Что ты подумала? – вкрадчиво спросил он. – А ну, колись быстро! Чистосердечное признание...

– Я подумала, что ты меня бросить хочешь, – выпалила Тамара. – Ты сказал: со мной трудно, так дальше нельзя... Ну вот я и подумала.

Евгений усмехнулся, склонился еще ниже, потерся носом о ее нос и вздохнул:

– Значит, не хочешь правду говорить...

– Да я правда так подумала, – слабо вякнула она, чувствуя, как опять сладко закружилась голова.

– Ладно, ладно, – сердито перебил Евгений, отпустил ее плечи и решительно поднялся. – Не морочь мне голову. До такой дури даже ты додуматься не могла. Ничего, ты мне потом все расскажешь. Под пытками и на детекторе лжи. Вставай, ужинать пора. Корми своего мужика, охотника и добытчика. Потом гулять пойдем... Причем – в новых сапогах! Я все сказал.

Тамара хотела обидеться – например, за то, что он ей не поверил. Но ведь он не поверил потому, что сам такой мысли не допускал – бросить... Это было хорошо, это было просто замечательно, и обижаться тут было глупо. Можно было обидеться еще и на диктаторский тон, но она вдруг с изумлением поняла, что и его диктаторский тон ей безумно нравится, как нравится и все остальное. Вот бы никогда не подумала...

– Сатрап, – с удовольствием обругала она его. – Тиран. Душитель всяческих свобод.

И царственным жестом запахнула на себе расшитые полы необъятного халата.

– Здорово! – восхищенно оценил Евгений не то халат, не то ее высказывание. – Я тебе покажу свободу! Давай рукава подвернем... Ты у меня живо о свободе забудешь! А что длинноват – так это ничего, да? Это на вырост. Все-таки какая ты маленькая... Ты теперь о свободе даже и не мечтай! И тапочки надень, смотри, какие хорошие тапочки, мягкие...

Он опять смешно и нелепо суеился вокруг нее – больше мешал, чем помогал, – но это уже не вызывало у нее снисходительной насмешливости. Он заботился о ней, и это было странно, непривычно и так прекрасно, что хотелось плакать. Смеяться тоже хотелось. Наверное, истерика начинается. Тамара никогда не понимала, что это такое – истерика, и даже не очень-то верила, что она существует на самом деле, а не выдумана капризными бабами как средство давления на окружающих. Оказывается, существует. Оказывается, это волшебное состояние – истерика. Если, конечно, то, что она сейчас чувствует, – это и в самом деле истерика.

– Кажется, я истеричка, – сообщила она Евгению мечтательным тоном, наблюдая, как тот вскрывает упаковки с нарезкой и вытряхивает содержимое банок на одноразовые пластиковые тарелки.

Евгений изумленно глянул на нее и вдруг захохотал, роняя тарелки на пол. Отсмеялся, собрал с пола посуду и буднично сказал:

– Малыш, ты домой не звонила? Наверное, тебя сегодня ждали? Или завтра? Беспокоиться не будут?

Ух ты... Она обо всем забыла! Она забыла – а он напомнил. Ой, как стыдно, как невыносимо стыдно, как все плохо получилось...

– А ты? Ты своим звонил? – Наверное, это была попытка оправдаться перед собой. А может быть, попытка защититься. Во всяком случае, ее совершенно не интересовало, помнил он о своей семье или нет.

– А меня не ждут, – легко сказал Евгений. – Ты звони, а я пока пойду посуду помою. И яблоки. Звони, звони. Тут прямой выход на межгород, через восьмерку. Код помнишь?

Он скрылся в ванной, закрыл за собой дверь и сразу включил воду. Тактичный, стало быть. Ну-ну. Тамаре это несколько не помогло. Телефонная трубка была тяжелее кирпича, а кнопки с цифрами никак не продавливались, сопротивлялись пальцу, даже отталкивали его. Зачем она звонит? Сейчас дома только дед, Николай еще на работе, Натка – в музыкальной школе... Дед обязательно почует, что с ней что-то не то. Надо было попозже позвонить, и тогда наверняка ответила бы Натуська. Тамара уже собралась положить трубку, не дожидаясь длинного гудка вызова, как вдруг – почему-то без всякого длинного гудка – в ухо ей закричал тонкий Наташкин голос:

– Мам! Это ты? Алё! Кричи громче, я ничего не слышу!

– Да я пока ничего и не говорила, – вдруг сразу успокоившись, сказала Тамара. – А ты чего так вопишь? И почему ты не на музыке?

– Здравсте, – уже нормальным голосом заявила Натка и недовольно засопела. – Какая музыка? Сегодня четверг! А ты чего домой не едешь? Тут кто-то все время звонит, а ничего не слышно. Я думала, это ты. Дед говорит, что не ты. Он говорит, что почувствовал бы, если бы ты. А я думала, что ты.

– Не чирикай, – строго велела Тамара, невольно улыбаясь. – Давай по порядку. У вас там все хорошо?

– Хорошо, – неуверенно ответила Натка. – Только дед из холодильника селедку стащил. Я отобрала, но он, кажется, успел немножко съесть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.